

[Polaris]

Елизавета
МАГНУСГОФСКАЯ



ТРИНАДЦАТЬ

Оккультные
рассказы

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXXII



Salamandra P.V.V.

**Елизавета
МАГНУСГОФСКАЯ**

ТРИНАДЦАТЬ

Оккультные рассказы

Собрание рассказов
Том I

Salamandra P.V.V.

Магнусгофская Е. А.

Тринадцать: Окультиные рассказы (Собрание рассказов. Том I). Сост. и подг. текста А. Шермана. — Б. м.: **Salamandra P.V.V.**, 2021. — 200 с. — (**Polaris**: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXXII).

В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890-1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Окультиные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.



ТРИНАДЦАТЬ

Оккультные рассказы

Е. МАГНУСГОФСКАЯ

Тринадцать

Оккультные рассказы



РИГА, 1930 г.

Латвийскому астрологу
Ральфу Бэтору
посвящаю мой скромный труд

*На небо глядеть может каждый из нас,
Но, все-таки, все мы — слепые...
А в безднах, где искрится звездный алмаз,
Решаются судьбы земные...*

*Бегут, с недоступных небесных высот,
Лучи к нам, на грешную землю...
О, как меня звездная тайна влечет,
Как жадно их голосу внемлю!*

*Все судьбы народов, отдельных людей,
Война и науки расцветы —
Начертаны ярко средь звездных лучей,
В аспектах предвечного света.*

*Там взбешено все на чудесных весах
Никто и ничто не забыто...
О люди! Учитесь читать в небесах,
Как в огненной книге раскрытой!*

ТРИНАДЦАТЫЙ УДАР

Июльское солнце...

Оно стоит высоко в небе и посылает свои палящие лучи на поля, золотит поспевающую рожь, обливает разноцветными красками полевые цветы.

Фрида лежит в поле. Жжет солнце. Жжет невыносимо. Надо бы прикрыть голову. Нечем. И лень, лень двигаться. Даже повернуться на другой бок.

Фриде девятнадцать лет. Но на вид ей меньше — такая миниатюрная, прозрачная.

У Фриды нет подруг. Крестьянские девушки, с которыми она училась в сельской школе, всегда чуждались ее. Особенно же с тех пор, как начали делаться с ней эти припадки. Она часто лишается чувств, и обмороки длятся несколько часов. Иногда начинается ни с того, ни с сего лихорадка. Поднимается температура чуть ли не до сорока — а потом, дня через два, все пройдет. Конечно, надо бы серьезно лечиться. Но отец ее, пастор Шмидт, обслуживает приход радиусом в двенадцать верст. Ему некогда свезти Фриду в город. Да и самой ей некогда: со времени смерти матери, скончавшейся два года тому назад, Фрида ведала все хозяйство. А оно немаленькое. Пять человек у нее братьев и сестер. Батраки. Птичий двор и молочная ферма. Верная помощница и советница Фриде — старая Марта; служит в доме пятнадцать лет. Но и вдвоем им справиться трудно.

Ах, что там — обмороки, головокружение, лихорадка — пустяки!

Хорошо на солнышке. Хорошо. Сегодня — воскресенье. Сегодня нет работы. Можно отдохнуть в поле... Жарко. Какая-то дрема сковывает все члены. Сладкая истома. А в истоме этой надвигаются сны...

— Я здесь!

Открыла глаза. И сейчас же закрыла: слепит солнце. Никого. Ни звука в поле. Даже кузнечики, трещавшие все утро, должно быть, испугались жары и смолкли. А стрекозы — синие, изумрудные, золотые — улетели в лес. К лесным

водам...

Ни звука. Ни ветерка. И неподвижно-мертвая стоит колосистая рожь.

— Нет, наверное, почудилось в полусне!

А может быть, и не во сне вовсе был этот голос. Может быть, это был тот странный звук, что долетает к нам, в трехмерное пространство, называя нас по имени. Прилетит на крыльях невидимых лучей из каких-то неведомых далей, позовет — и смолкнет навсегда...

И горе — говорят — смертному, который на него откликнется!

Фрида снова закрыла глаза. Этот странный голос, раздавшийся так издалека, напомнил ей другой, который она не слышала уже давно...

Андрей, сын кузнеца...

В школе не отличался он от других мальчиков ничем. Так же баловался на переменах, так же дразнил девчонок и дрался с товарищами. Учился посредственно. Что он пел в хоре лучше других — до этого не было никакого дела старому учителю, буквоеду и формалисту. И только, когда ушел он из школы в тенистый уголок кладбища, а на его место пришел другой, полный каких-то новых идей, и отвел почетное место в плане школьных занятий гимнастике и пению — на голос Андрея обратили внимание. Он сразу выдвинулся перед всеми...

И в классном пении, и в церковном хоре мальчику поручались руководящие партии и голос его выделялся из всех, заставляя к себе прислушиваться.

— Ангельский голосок! — говорили старушки.

Когда Андрей кончал уже школу, учитель пришел раз к

его отцу, кузнецу, и сказал:

— Послушайте, Шальх, вы должны отдать мальчика в музыкальную школу. С таким голосом, как у него, примут на стипендию!

— Чушь! — бросил кузнец. — Баловство! Андрей — старший из детей, и он будет продолжать мое дело!

Никакие убеждения не помогли, хотя на помощь учителю пришел неожиданный союзник — пастор. Он пытался доказать кузнецу, призывая на помощь слова Писания, что грех зарывать в землю данный Богом талант.

— Я вас очень уважаю, господин пастор, — сказал Шальх, — но если вы будете советовать мне сделать из моего сына шалопая и лентяя, то мы с вами серьезно поссоримся.

Ссориться с зажиточным и влиятельным кузнецом пастору не было никакого расчета, и он отступился. Учитель был упорнее, и при всякой встрече с кузнецом возвращался к тому же разговору.

— С отцом вы ничего не поделаете, господин учитель — он страшно упрям.

Андрей часто приходил к учителю, и Шальх относился к этим посещениям неодобрительно. Но учитель сказал, что готовит его сына к выпускным экзаменам. Зная, как плохо учился последнее время Андрей, отец махнул на эти посещения рукой.

Шальх был очень рад, когда учителя убрали из села. Честный, идейный, снискавший горячую любовь своих воспитанников, дававший им бесконечно много в смысле знаний и жизненного опыта, он не мог подлаживаться ко вкусам родителей...

Окончив школу, Андрей стал работать в кузнице отца. Он заметно скучал. У него не было близких товарищей — сложную натуру юноши не могли понять его сверстники. А единственный друг его — учитель — уехал... Андрей пел еще по праздникам в церковном хоре, но отказывался петь где-нибудь в гостях.

Кузница также более никогда не оглашалась его песнями...

В то дождливое лето, после которого наступило два неурожайных года подряд, Фриде исполнилось тринадцать лет. Тогда еще были живы и мать, и бабушка, жившая в деревне за четыре версты. Фрида охотно гостила у старушки. Перед началом учения она осталась на этот раз у бабушки целую неделю. Последние три дня шел проливной дождь.

— Очень сыро в лесу, — сказала бабушка, отпуская Фриду домой, — может быть, подождешь до завтра? Рано утром поедут крестьяне, подвезут тебя...

— Завтра начинается учение. Если я не приду, мама будет беспокоиться. А папа сердиться. Надо все приготовить, сложить книги, выбрать, что надо... И потом сегодня, бабушка, такая чудесная погода — ни облачка! Такая погода за все лето стояла каких-нибудь три дня... Я пойду медленно — в лесу будет так хорошо... Времени до заката еще довольно!

Фрида бодро пустилась в путь. Заблудиться в лесу она не могла. Где городской человек видит одинаковые, как близнецы, сосны — она замечала тысячу признаков, по которым молено было безошибочно найти дорогу. Каждое дерево, каждая тропинка имели свое собственное лицо. Жив лес для того, кто идет в нем зрячий! Эту тропинку, которая выходила к бабушкиной деревне и значительно сокращала путь, Фрида знала так хорошо, что могла бы найти дорогу даже ночью!

Но сегодня было как-то странно. Весь лес был другим, и каждое знакомое место — незнакомым... Это потому, что везде и всюду стояли целые озера красноватой или черной воды, и смешно торчали из них кусты можжевельника. И сама тропинка в некоторых местах прерывалась черными, жуткими водами. Далеко приходилось обходить их, следя за тем, чтобы не потерять из виду тропиночку. И тяжело было проходить мимо этих вод, потому что из них поднимались целые тучи жужжащих комаров.

И с девочкой случилось то, чего не случалось ни разу за три года, что пускали ее к бабушке одну: она заблудилась!

Зная, что до села ходу меньше часа, она вышла к вечеру... Но как-то сразу надвинулись сумерки. На бывшее це-

лый день безоблачным небо набежали облака. Над водами встал туман. Незнакомые, выдвинулись из знакомых вод сосны. Жутко чернели лужи, казавшиеся бездонными.

И тропинка затерялась без следа!

Фрида, помня, что в последний раз обошла ее справа, забирала все влево и шла до тех пор, пока не наткнулась на черную воду, которой, казалось, не было границ. Неужели обратно? Пошла назад, стараясь попасть на то же место, с которого свернула. И снова впереди вода!

Не была трусливой Фрида. Не было для нее ничего страшного в лесу, к которому привыкла она с детства. Но тут, этим туманным вечером, она показалась себе такой беспомощной и одинокой, что села на ствол поваленной бурей сосны — и заплакала.

Стало совсем темно. Между сосен мелькнула луна — и странно засветились на миг лесные воды.

— Луна, — значит, село в той стороне... за этой водой... Да, но как ее обойти?

И вдруг, явственно и отчетливо, отдаваясь над водой, донесся до нее знакомый звук. Второй... третий... Семь ударов насчитала Фрида.

— Часы! Наши колокольные часы!

Теперь она знала направление. Но как миновать эту воду, которая окружала, как будто, со всех сторон? Село близко — отчетливо были слышны колокольные удары. Фрида, вскочившая с первым звуком часов, снова села ждать, пока вынырнет луна, чтобы при свете ее попытаться найти дорогу. Полная тьма стояла теперь в лесу. И луна, как бы издаваясь над последней надеждой девочки, упорно пряталась в тучах...

Стал накрапывать мелкий дождь...

И вдруг, как сквозь сон, долетели новые звуки. Издалека принеслись они, и все приближались и приближались. Никогда, казалось Фриде, не звучала так чудесно песня, как

эта, разносившаяся в темном лесу, подхваченная его эхо...

Чужая песня — но голос знакомый. Так поет на селе только один!

И когда, уже довольно близко, песня замерла, Фрида вскочила и крикнула, пронзительно и громко:

— Андрей! Андрей!

И голос ответил:

— Ау!

— Андрей, иди сюда, я заблудилась и не могу найти пути... Кругом вода. Я — Фрида, дочь пастора!

— Иду. А ты подавай голос!

И странно перекликались они, невидимые друг другу, и подхватывала голоса их лесная вода.

И вот, совсем уже близко, зашевелились кусты и, ловко перепрыгнув через лужу, очутился перед девочкой Андрей.

— Как ты попала сюда, Фрида?

И, сквозь слезы, стала рассказывать ему девочка свое приключение.

— Ну, не плачь, — сказал он, глядя ее спутавшиеся волосы, и поцеловал ее, как маленького ребенка, в лоб. — Пойдем, — со мной ты не заблудишься! Да здесь совсем недалеко, это только вода мешает.

Андрей подхватил ее под руку и стал уверенно продвигаться вперед. Кое-где приходилось перепрыгивать через лужи, карабкаться на кочки. Фрида совсем успокоилась, ей стало даже весело. И все время, пока шли, она чувствовала его твердую, уверенную руку.

С того вечера тринадцатилетняя Фрида и семнадцатилетний Андрей стали большими друзьями.

В тот год, когда Фрида кончала школу, Андрея взяли на военную службу. Через год он, в красивой военной форме, приехал в отпуск. Две недели всего прожил он дома.

Но недель этих не забыть Фриде!

Андрей, привыкший ранее видеться с Фридой каждый день, словно теперь только заметил, что она уже не ребенок, а хорошенькая девушка. Что у нее бирюзовые глаза, что мягки, как лен, ее золотистые волосы и красивой нежной линией очерчены ее губки.

А для Фриды Андрей стал героем с той ночи, как вывел ее из лесу.

Ничего не было сказано между ними, но понимали друг друга они с полуслова. Говорили не уста, а глаза. Говорили сплетавшиеся при встречах и прощаниях пальцы. А Фрида каждую ночь видела во сне тот вечер, когда, опираясь на его руку, шла по темному и туманному лесу, только изредка освещаемому луной...

И, просыпаясь, вздыхала, почему сон — не явь, почему наяву не прикоснется он устами к ее горячему лбу. Не проведет рукой по ее волосам.

— Я завтра уезжаю в полк, Фридель...

— Но через год ты вернешься?

— Нет, Фридошка... Тебе скажу — больше никому. Я останусь в городе и буду учиться пению. Я не могу и не хочу здесь... Я должен сделаться певцом!

Глаза его сверкнули. А на ее глазах заблестели слезинки.

— Значит, мы больше не увидимся.

— Фрида!

Больше не сказал ничего. Сжал только ее руки... Но она поняла.

Потупилась...

Ах, зачем не поцеловал он ее тогда! В этот последний вечер! Хотя бы так, как тогда, в лесу! Еще никто не целовал Фриду. И поцелуй его, Андрея, были знакомы ей только во сне...

Андрей... Если бы ты был здесь!...

Жарко печет солнце. Невыносимо жарко... Встать нету сил...

Слишком долго лежала на солнце. Разболелась голова. Не могла дожидаться, когда кончится бесконечное чаепитие. У пастора ужинали и обедали всегда очень долго. Так было заведено...

Не выдержала:

— У меня очень болит голова, папочка... Ты извини, я уже лягу!

— Ляг, ляг. Марта справится с посудой.

— Не надо было так долго оставаться на солнце, — ворчит Марта.

Но Фрида уже не слушает. Она идет к себе. Она уже в постели.

Лихорадит. Несмотря на то, что в окно струится душный воздух, холодно...

Марта, убрав со стола, зашла посмотреть, что с ее любимицей. Присела на край постели.

— Не надо было так долго оставаться на солнце, — повторяет она. — И в кого ты только такая вышла? Точно городская барышня! Наши девушки целыми днями на солнце, в поле. Ни у кого голова не болит. А ведь ты тоже выросла в деревне!

— Посиди у меня немного, Марта! Расскажи что-нибудь.

Любит Марта рассказывать. Знает все деревенские новости. Все сплетни. Но сейчас ей не приходит в голову, с чего начать. Да и не все можно слушать молоденькой девушке.

— Помнишь кузнецова Андрея? — спрашивает она.

— Андрей!

Еле сдержалась, чтобы громко не крикнуть этого имени девушка. Как можно так глупо спрашивать! Впрочем, разве может Марта знать, что Фрида день и ночь только и думает, что о нем, об Андрее...

Фрида овладела собой. И голос ее прозвучал совершенно спокойно:

— Который так хорошо пел?

— Вот, вот! Он ушел три года тому назад на военную службу да так и не вернулся к отцу. Племянница моя встретила его недавно в городе. Такой барин, говорит, стал, что

Боже упаси! Совсем городской. Учится пению. Говорят — выступал уже где-то на концерте... Такой веселый!

— Не вспоминал нас?

— Как же! Поклон велел передать господину пастору!

— А мне нет?

— Тебе! — презрительно бросила Марта. — Где ему помнить тебя!

— Вместе учились...

— Мало ли девчонок было в школе!

Фрида повернулась к стене и закрыла глаза. Больно было, что он не прислал поклона... Веселый... Городской барин...

А в городе много барышень.. Городских и красивых...

Пять дней пролежала в постели Фрида. Не выдержала больше. Тянуло на солнце, на воздух...

— Только не лежи ты, ради Бога, на солнце, — говорил отец, — сегодня 28 градусов даже в тени!

— Нет, папочка, я в лес...

В лесу не было душно. Начинался ветер. Когда Фрида вошла в лес, было еще тихо. Птицы в июле не поют. Еле слышно шептались ветви сосен. Но постепенно ветер крепчал. Лес ожил. Сосны заговорили. У каждой сосны свой голос. Каждая говорит на своем языке. Рассказывают. Предупреждают.

И хорошо тому, кто понимает голоса леса...

С опушки — высоко растет лес — видно все село. У кого зоркие глаза, разглядит даже, что золотая стрелка церковных часов показывает без пяти двенадцать.

Солнце высоко. Обливает лучами маленькие домики села. И не видит, что с запада ползет страшная грозовая туча.

Еще ожесточенней застонали сосны. Фрида закрыла глаза, слушая музыку леса. Но ветер донес и другие звуки.

— Десять... одиннадцать... двенадцать, — по привычке считала Фрида.

«Всегда двенадцать, никогда тринадцать или четырнадцать... — подумала она. — А впрочем, отец рассказывал, что где-то в городах часы бьют до двадцати четырех... Я бы хотела слышать, как пробьет тринадцать... четырнадцать...»

— Завтра ночью, когда услышишь, что пробьет тринадцать, ты умрешь!

Кто сказал это?

Испуганно оглянулась Фрида. Слова раздались как будто над самым ухом. Никого. Ничего. Сзади пустой лес. Стонут только сосны. Ах, как жалобно стонут они! Но кто же говорил сейчас? Кто сказал эти жуткие, жестокие слова?

Разве не был это голос Андрея? Да нет, Андрей никогда не мог бы сказать таких жестоких слов!

— Андрей!

Ближе надвигается туча. Душным становится воздух. Тяжко дышать. Громче стонут сосны.

— Неужели я умру?

— Когда пробьет тринадцать... Завтра ночью...

Фриду нашли на опушке леса крестьянские девушки, спешившие с поля укрыться от грозы...



Пастор не мог уснуть всю ночь. Под вечер, придя в себя, рассказала ему о странном голосе Фриды, и страшное беспокойство овладело его душой.

— Не может пробить тринадцати, — следовательно, она останется жива, — говорил он себе, ложась в постель. И твердо решил завтра с утра послать в город за доктором.

Всю ночь ворочался он с боку на бок, вставал, ходил смотреть, как спит Фрида, возвращался назад и снова ворочался с боку на бок. И когда он слышал, как били церковные часы — двадцать пять лет привык их слышать пастор, и бой их был так знаком, так симпатичен, как голос старого друга, — сердце его болезненно сжималось.

И возненавидел он сегодня и эти часы, и их знакомый бой...

Утром, послав в город за доктором, пастор направился к Фриде. Она не спала.

— Ну как, детка?

— Хорошо, папа. Кружится только голова.

— Я послал за доктором.

— Напрасно, папа. Я ночью умру...

— Фрида, перестань! Ведь это глупо! Ты отлично знаешь, что наши часы не могут пробить тринадцати. Нельзя придавать значения какому-то бреду!

— Ну, не буду... Только последнее... Последнее мое желание, папа.. Ты помнишь Андрея Шальха? Сына кузнеца? Он учится в городе пению... Когда-нибудь ведь он же вернется сюда... Повидать родителей... Братьев... И тогда пусть он придет на мою могилу... И споет какой-нибудь хорал... Я очень любила его голос... И я услышу, когда он будет петь... Пусть он споет:

**Ich will Dich lieben, meine Stärke,
Ich will Dich lieben, meine Zier...**

— Ты сделаешь это, папа? Обещаешь?

Пастору захотелось плакать. Он молча кивнул и быстро вышел из комнаты.

А Фрида лежала так, с открытыми глазами, и, глядя в окно, где голубело небо — разбежались по нему белые барашки, не было и следа вчерашней непогоды — пела вполголоса заключительные слова хорала:

**Ich will Dich lieben, schönsten Licht —
Bis mir das Herze bricht!**

Пастор прошел к церкви. Старый Мартин, церковный сторож, был занят тем, что начищал медную ручку церковной двери. Завтра было воскресенье, и Мартин гордился тем, что все металлические части дверей сияют у него, как

солнце.

— Здравствуй, Мартин!

— Здравствуйте, господин пастор!

— Слушай, Мартин... У тебя... часы в порядке?

Обиженно посмотрел на него старик.

— Конечно, господин пастор. Вы же знаете, что я очень внимательно слежу за механизмом, смазываю... Когда, в прошлом году, часовщик осматривал часы, он похвалил меня и сказал, что я...

— Знаю, знаю, старина. Я не потому...

Пастор подыскивал слова.

— Ну, все равно, я знаю тебя двадцать пять лет! Мартин, я скажу тебе всю правду.

И пастор поделился со сторожем своими опасениями.

— Часы не могут пробить лишнего! — уверенно сказал старик. — Никогда еще не случалось, чтобы сейчас после целого часа они били, например, половину. Но, если господин пастор хочет, мы можем подняться на колокольню и проверить бой.

Они поднялись наверх по скрипучей деревянной лестнице. Мартин завел часы, проверил бой, открыл механизм. Все было в полном порядке. Ни одно колесико не задевало за другое, ни одна пружинка не была заржавленной. И маятник качался равномерно.

— Вот, видите, господин пастор, все в порядке!

— Спасибо, Мартин. Прости, что заставил тебя подняться наверх.

— Всегда рад служить, господин пастор!

Внизу, у церкви, стояла лошадь пастора. Кучер возился у застрявшего в грязи колеса.

— Неужели один?

— Да, господин пастор. Доктор еще вчера выехал на поездку по округу. Но жена обещала, как только тот вернется, он сейчас же поедет к нам. Его ждут завтра рано утром.

— Завтра! — вырвалось у пастора. — Надо было непременно сегодня!

«Общими силами надо было выбить это как-нибудь у нее из головы, дать какое-нибудь сонное средство... Чтобы

проспала она эту ночь... Ведь это же самовнушение! — думал пастор, возвращаясь домой.

Беспокойство пастора стало еще сильнее. День тянулся бесконечно. Фрида то спала — а может быть, это было забытие, — то лежала с открытыми глазами, о чем-то напряженно думая.

Пастор с восьми часов сидел у Фриды и был намерен просидеть так всю ночь, хотя завтра воскресенье, церковная служба. Он придвинул к постели Фриды столик и стал набрасывать текст своей завтрашней проповеди. Никогда не было это так трудно старому пастору, как сейчас. Обычно он заранее тщательно обдумывал и приготавливал проповеди — недаром же был хорошим проповедником. Но сегодня ни одной мысли не шло в голову. В голове была только одна мысль, отгонявшая все другие, и звучала одна и та же фраза:

— Когда пробьет тринадцать — я умру...

Пастор взял Евангелие. Он делал так иногда — откроет наугад и берет текст для проповеди. Открыл от Матфея. И перед глазами его пробежали строки;

«Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раи...»

И в душе пастора в ответ на слова Христа прозвучало:

— Когда пробьет тринадцать — я умру...

Посмотрел на Фриду. Она лежала, закрыв глаза. И внешне, почему-то, ему пришли на язык заключительные слова хорала, который утром напомнила ему Фрида. И он взял исходной точкой эти красивые старые слова:

«Ich will Dich lieben, schönstes Licht,
Bis mir das Herze bricht!»

Фрида дремала. А пастор, склонив свою сидящую голову над бумагой, стал писать о том, что надо любить Гос-

пода больше всего и благодарить Его за все, что Он ни пошлет — за счастье и горе...

— А я? Могу ли я возблагодарить Господа, если Он отнимет у меня ее? — спрашивал себя честно пастор, бросая взгляд на постель.

И снова сердце его сжималось тоской.

— Папа, который час?

Вопрос этот, прозвучавший так неожиданно, заставил пастора вздрогнуть.

— Десятый, детка...

— Значит, еще три часа...

Пастор оставил рукопись и подсел к больной на кровать.

— Завтра утром приедет доктор, определит твою болезнь... И тебе самой станет смешно, что ты придавала какое-то значение своему бреду.

— Завтра будет поздно...

Стемнело. В окна глянули большие июльские звезды; черным силуэтом, закрывая почти половину Большой Медведицы, рисовалась церковная колокольня. Как ненавидел сегодня эту колокольню пастор, как ненавидел он эти часы, которые пробили десять!

— Папочка! Другие девушки в моем возрасте обручаются... даже выходят замуж... А я... Меня даже не целовал никто...

Тихо прозвучали ее слова и замерли вместе с последним звуком часов.

Она снова впала в забытие. В комнате горел ночничок. Не рискнул зажечь лампу пастор, и, еле разбирая буквы, кончал свою — труднейшую в жизни — проповедь... Ночник давал мало света. По углам бегали тени. Из-за колокольни выдвинулся как-то нелепо ковш Большой Медведицы. Полярная звезда мигнула своим глазом...

Половина одиннадцатого... Одиннадцать...

Половина двенадцатого...

Ах, если бы она поспала еще час... Только час... Тогда все будет хорошо!

Пастор попробовал молиться. Но молитва замирала на его устах. И только душа, полная скорбного предчувствия, могла молиться Господу сил...

Где-то завыла собака. И вой этот отозвался в самом сердце пастора... Слава Богу, перестала...

Без четверти двенадцать... Без пяти...

— Папочка...

Господи, Господи, зачем только она проснулась!

Пастор наклонился к больной.

— Который час, папочка?

— Два часа ночи, — хотел ответить — первой ложью своей жизни — пастор.

Но в эту минуту раздался удар церковных часов.

Приоткрыв дверь, тихо вошла в комнату Марта. Ей пастор рассказал все, и она не ложилась. Пастор хотел начать какой-нибудь разговор, чтобы только не слушала боя часов больная... Но слова не шли на язык... А впрочем — пусть считает Фрида. Пробьет двенадцать — и она успокоится... Ведь правильно идут часы. Ведь не могут пробить они ни единого лишнего удара! Они с Мартином осматривали механизм...

— Пять, шесть... семь... — считала вслух Фрида. И каждое слово ее отдавалось в душе пастора так же, как назойливые, протяжные удары часов...

— Восемь... девять... десять...

Как медленно бьют часы! Как длителен их каждый удар!

— Одиннадцать... двенадцать!..

Вздых вырвался из груди пастора.

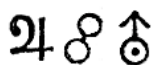
И вдруг... неожиданно, глухо, жутко — раскатился с баши еще один удар, подхваченный эхом.

Тринадцатый удар церковных часов!

Фрида посмотрела на отца, как бы прощаясь с ним... на Марту; улыбнулась им грустной улыбкой... закрыла глаза...

.

Не только пастор и Марта — многие крестьяне, не легшие еще спать, слышали в эту ночь странный удар — загасивший юную жизнь тринадцатый удар церковных часов.



ТРИНАДЦАТЬ

— Вы можете говорить, что хотите, меня вам все равно не переубедить, — сказал, как бы отказываясь от дальнейшего спора, помещик Степанов.

— Но ведь это грубое суеверие! — возразил хозяин дома.

— Как в вас уживается вера с суеверием? Я знаю, вы человек очень верующий, — спросил молодой батюшка, отец Владимир.

Степанов пожал плечами.

— Вообще я не считаю себя суеверным. Я не верю никаким приметам, никаким там тяжелым дням, ни тому, что перебежит дорогу кошка, ни карканью ворон, ни трем свечам — все это ерунда... В этом я с вами, батюшка, согласен. Но вот тринадцать — это мой враг... Преследует меня всю жизнь... Я бы мог рассказать вам множество фактов.

— Расскажите, расскажите! — понеслось со всех сторон.

— Тогда придется рассказать вам всю мою жизнь... Только не ждите ничего особенно интересного... Я передам вам только голые факты, говорящие за себя...

Хозяин наполнил стаканы.

— Когда и кто впервые сказал мне о значении «чертовой дюжины» — право, не помню. Только знаю, что еще в третьем классе я завел об этом разговор с нашим законоучителем. Он был батюшка очень строгий... Результатом моего вопроса явилось стояние в коридоре...

Тринадцатого я получал всегда плохие отметки, поэтому ужасно боялся, чтобы меня не вызвали тринадцатого. Положим, двойки я получал и в другие дни, так что перед мамашей оправдываться тринадцатым было невозможно...

Когда я кончил гимназию, скончался мой дядя, оставивший нам имение, и мама поехала туда. Я учился в Петербурге, и в мои студенческие годы тринадцать пресле-

довало меня незначительно. Провалился раз тринадцатого на экзамене... и такие мелочи...

Моя первая любовь... Рассказывать об этом не входит в рамки моего рассказа. Упомяну только, что тринадцатого мая мне удалось ее в первый раз поцеловать. Я провожал ее домой... И, придя к себе, бросив случайный взгляд на календарь, воскликнул:

— Пустяки! Не верю больше в тринадцатое! Не верю!

Вы знаете, что значит быть влюбленным в двадцать лет... Моя милая казалась мне олицетворением всех женских добродетелей... Я серьезно думал на ней жениться...

Потом... потом я получил от нее письмо:

«Прости меня... я ошиблась в своем чувстве...» Ну и так далее... Как пишут в таких случаях женщины...

Письмо было помечено тринадцатым августа...

Я начал пить, пил страшно... Потом втянулся в карточную игру...

Жил я в то время с товарищем. Он был болезненным. Вечно занятый заботами о своем здоровье, этот аккуратный немец ежемесячно откладывал деньги, собираясь летом ехать куда-то лечиться. Он давал уроки, чертил, переписывал лекции и вообще зарабатывал немало. Несмотря на несходство характеров и стремлений, мы с ним ладили.

Деньги свои держал он в кассе. За два дня до своего отъезда на летние каникулы, он взял деньги и принес домой. Долго возился у своего стола, потом обратился ко мне:

— У моего стола что-то с замком. Пожалуйста, спрячь деньги пока у себя. У тебя ведь замок в порядке?

Я взял его триста рублей и запер в ящик своего стола. Он ушел на весь вечер к знакомым. Я остался дома и сел писать письмо матери. Но тут ко мне ввалились товарищи. Принесли водки. Конец учебного года — надо же отметить это событие! Потом затеялась, как всегда, игра. Играли высоко. Обыкновенно, я бывал очень счастлив в игре, но на

этот раз счастье как-то отвернулось от меня. Я проиграл все, что у меня было — последние шестьдесят рублей! Мне неудержимо хотелось отыграться. Я был уверен, что счастье не оставит меня.

Как я пошел к столу, отпер ящик, достал бумажки — не помню. Ведь все мы были пьяны, я больше всех...

Помню только — когда они ушли, я схватился за голову, да так и остался. Что я сделал! Ведь я проиграл триста рублей! Чужие деньги! Деньги больного товарища!

Кредита у меня давно нигде не было. У матери просить не мог. Неделю тому назад она выслала двести, пеняя на мое легкомыслие. Да я и сам знал, что имение не давало большого дохода, и первые годы ей было трудно.

Я сел к столу и стал писать ей письмо:

«Петербург, 13-го апреля...»

Стрелялся я неудачно. Я метил в сердце, но вошедший товарищ схватил меня за руку и я попал в плечо... С тех пор, как вы знаете, я плохо владею левой рукой. Это все тринадцатое.

В ту же ночь я дал матери телеграмму, и на следующий день по телеграфу же пришли деньги. Я не спрашивал, но догадывался, ценой каких унижений и просьб были они ею получены...

Лето я проводил у мамы. Тринадцатого августа упал я, катаясь, с лошади и пролежал в больнице два месяца — у меня была сломана нога...

Когда я возвращался в Питер, у меня украли чемодан со всеми вещами. А все потому, уверяю вас, господа, что у меня была плацкарта номер тринадцатый!

А в январе следующего года заболела, и опасно, моя мать. Тринадцатого февраля я получил телеграмму:

«Приезжайте немедленно — вашей матери стало хуже»...

Она, конечно, умерла...

Окончив университет, я поселился в деревне, и внезапно открыл в себе способности к сельскому хозяйству. Деревенская здоровая жизнь благотворно влияла на меня. Нервы мои, сильно расшатанные смертью матери, сталиправляться и в спокойной, однообразной деревенской жизни я стал забывать о своем главном враге — числе тринадцать. И вдруг оно снова напомнило о себе!

Я влюбился в дочь соседа-помещика. Некоторые из вас знали мою первую жену? Она была очень капризная, своевольная, любила всегда ставить на своем. Как-то в разговоре я рассказал ей о своем «враге» и у нее явилась фантазия переубедить меня. Она сказала, что свадьба наша состоится тринадцатого сентября, или никогда! Мысль о том, что, ради ее каприза, наша свадьба должна состояться в такой несчастный день, мучила меня... Но что же делать? Пришлось уступить... Ведь я был влюблен...

Наша совместная жизнь не дала нам ни минуты радости. Слишком поздно поняли мы, что у нас нет ничего общего... Страстная любовь проходит очень быстро... а больше нас не связывало ничто...

Вы знаете, чем это кончилось... Когда она ушла от меня, два года спустя — было тринадцатое июля...

Шесть лет спустя я женился вторично. И, как вы знаете, живу с Шурочкой счастливо вот уже двадцать шесть лет. Много радости испытали мы с ней. Было, конечно, и горе... Такая уж штука жизнь — палка о двух концах. Большое горе было у нас, когда родился наш первый ребенок, тоже Шурочка. Она родилась тринадцатого марта и прожила три дня. И слава Богу — несчастный была бы человек.

Через год нас утешил Костя. Вы знаете его судьбу, господа... Студентом втянулся он в революционное движение... принимал активное участие. Его расстреляли в пятом году, тринадцатого декабря...

Осталась у нас одна Таня. Надеюсь, что хоть ее-то ми-

нует роковое число...

Три года тому назад, тринадцатого июля, огромный пожар уничтожил мой дом и почти все службы... Сколько одного хлеба сгорело! Мы были почти разорены...

Прошлый год — 1913-й — был для меня несчастным во всем... Крупных несчастий не было, но весь год пестрел мелкими неудачами, болезнями, ну и вообще...

Не удивляйтесь после этого, господа, что я никогда не начну ни одного серьезного дела тринадцатого, никогда не остановлюсь в номере тринадцатом гостиницы, не сяду тринадцатым за стол, не продаю и не покупаю того, что стоит тринадцать...

А теперь не сердитесь, дорогие хозяева, если я уже встану из-за стола и поеду домой. Уже одиннадцатый час, ехать мне, как вы знаете, не так-то близко, и если я выеду позже — тринадцатое число застигнет меня по дороге.

— Так оставайтесь у нас, — предложил хозяин, — а завтра утром поедете.

— Нет, тринадцатого я ездить не люблю...

— Так оставайтесь до четырнадцатого, — сказала гостеприимная хозяйка.

— Спасибо вам большое... Но только четырнадцатого у меня дела в городе, и я должен поехать туда рано утром, вместе с женой... Уж не сердитесь на меня, суеверного старика, и отпустите с миром!

Хозяева знали, что Степанова не уговорить и проводили его, желая ему «доехать еще двенадцатого».

Когда они вернулись в столовую, там оживленно спорили. Многие, особенно из стариков, сочувствовали Степанову. Молодежь возмущалась, называла «глупым суеверием». Батюшка заступался за Степанова, говоря, что других суеверий за ним не знает.

— Если это только суеверие, как же вы объясните, что все несчастья случались с ним именно тринадцатого или в

связи с тринадцатым? — спросил кто-то.

— Самовнушение, — сказал доктор, — исключительно самовнушение.

О тринадцатом спорили еще долго, пока, после ужина, молодежь пошла в гостиную танцевать, а старики сели за карты.

Давно наступило тринадцатое, когда разошлись и разъехались гости радушного помещика.

Громадным волнением была охвачена на другой день вся округа. О преступлениях в уезде было слышно вообще редко, разве какое-нибудь там воровство! А тут — убийство! И еще какое! На большой дороге! Завелись настоящие разбойники! Газета сообщила: «С целью ограбления в ночь на вчера был убит помещик Степанов, возвращавшийся к себе в имение. Кучер тоже ранен».

Одна подробность этого ужасного случая, которая не могла заинтересовать репортеров, была долго на языке всех соседей покойного Степанова.

Кучер, которого нападавшие тоже ранили, но, к счастью, не очень опасно, показал, что последними словами Степанова, произнесенными им, может быть, минут за десять до того, как на них напали грабители, были:

— Что ты так медленно едешь сегодня? Вот уже пять минут первого!

Значит, Степанов был убит — тринадцатого...



КОМНАТА № 3

— Так вы хотите знать историю комнаты № 3? Ладно... Это было... Позвольте... Ну да, я был тогда на втором курсе... Значит, года за два до начала войны. В конце летних каникул заболела моя мать. Из-за ее болезни и похорон я приехал только в конце октября, разбитый физически и нравственно. Когда студенты давно съехались, найти в Юрьеве приличную комнату трудно. Осталась одна дрянь, да и та идет по высоким ценам.

Бегал, бегал по осенней грязи, ночевал четыре ночи у товарищей (не в гостиницу же идти — не так богаты!), но, наконец, нашел довольно приличную, и по баснословно дешевой цене. Что называется, «повезло»! Конечно, не обошлось без некоего «но...» Зря ведь не сдадут дешево хорошую комнату. Комната сама по себе была отличной, но вход! По меткому выражению одного из товарищей, чтобы попасть в мой рай, надо было миновать ад и чистилище.

Вход был с Лунной. Надо было войти в калитку, пересечь широкий, но грязный двор, пройти по какому-то узкому проходу между палисадниками, обогнуть конюшню. Тогда только вы попадали в грязные, вонючие сени, где был навален всякий хлам: старые бочки, ржавые вывески, тряпки, птичьи клетки, стружки.. В сенях было много дверей, все они вели в сарай. Жилых помещений было только два: квартира дворника, который сдал мне комнату, и моя.

Моя комната «с отдельным входом»! Это вам не фунт изюма! Да!

Среди множества дверей легко было ошибиться, и я приколоп к моей визитную карточку. Но ее в первый же день сорвали мальчишки, которые имели привычку возиться в сенях. Другой у меня не имелось. Поэтому я вынужден был объяснять товарищам:

— Стучитесь в дверь, на которой увидите № 3!

Такие грубо намалеванные номера имелись на всех дверях, на некоторых полустертые, на иных еще можно было

разобрать. Я еще сам обвел номер мелом, как что он стал ясным и заметным.

Как бы там ни было, но, миновав ад и чистилище, вы попадали в суший рай. В комнате было тепло и уютно. Турецкий диван! Мягкий стул! Мягкое кресло! Светло-зеленый с золотом шкаф! Солидный письменный стол...

Печку топили очень прилично, и хозяйка, которую я, за незнанием языка, называл «Куле Ивановна»*, давала кипятилок во всякое время.

Но все достоинства комнаты я оценил, конечно, не сразу.

Когда мы с Амишкой... Виноват, господа — никто из вас не знал моей Амишки? Много потеряли — славный был песик... Ну вот, когда мы с Амишкой вошли в комнату — нам обоим стало не по себе. Уверяю вас, что и Амишке тоже. Чего бы, кажется, желать — есть кров над головой, тепло, уютно, спокойно — а вот берет тоска, да и только...

Комната — мрачная, низкая, темная. В окно смотрели серые сумерки; стучал дождь. Утомленный беготней последних дней, я опустился на мягкий, хоть и скрипучий, диван. Амишка легла у моих ног, и, виляя хвостом, смотрела мне в глаза. И меня охватило какое-то неопределенно неприятное ощущение, от которого я не мог отделаться целую неделю.

Особенно ярко проявлялось это чувство по ночам. Я не могу вам определить его характера: какое-то неопределенное беспокойство, страх, ну, одним словом — мне было жутко. Несмотря на усталость, я почти не спал первую ночь, просыпаясь каждые четверть часа. Было холодно — хозяйка не догадалась еще натопить. Впрочем, Куле Ивановна думала, что я перееду только завтра. В окно барабанил силь-

* «Куле» — очень употребительное эстонское слово, значит «слушай» (Прим. авт.).

ный дождь, а в ставни стучал ветер. Они были притворены не совсем плотно. Идти в такой дождик на двор, темный и грязный — нет, спасибо! Я еще не знал, какая милая старушка Куле Ивановна, поэтому крыл ее всю ночь почем зря, ворочаясь от холода с боку на бок. Вдобавок, начала еще выть Амишка... Уверяю вас, господа, что и ей было жутко...

Так пошел день за днем. Пока светло — еще куда ни шло, зато вечерами — просто скандал. Смеюсь над собой, убеждаю себя, что нет и не может быть никаких причин для страха — а вот не могу отделаться от страха, да и только.

Переехать не мог и думать — отдал за комнату последние деньги, да и где найти?

Прошла неделя, другая — стал понемногу привыкать. Все же, не совсем один был: что ни говорите — собака, кошка много значит... Чувствуешь около себя живое существо... Впрочем, Амишка стала что-то скучная: не ест, не идет на руки, не просится со мной гулять... Брал ее на руки, гладил... Смотрит на меня своими глазищами — и так грустно... Говорю:

— Не умирай, Амишка! Без тебя, ей-Богу, скучно будет...

А вот не послушалась — взяла да и умерла... Прихожу раз с лекции — лежит, протянув лапки...

Ну и стало мне тут совсем противно в этой комнате...

Дня через три зашел ко мне товарищ, Антонов. Скандалист в пьяном виде первостепенный, а в общем — душа-человек... Рассказывает: поругался с хозяйкой, да так крупно, что она грозит на него к мирошке подать. Вещи хочет выбросить на улицу. Топить перестала. Кипятка не дает. Что Антонова выбрасывают из комнаты за неплатеж или за скандалы — история не новая.

Не успел Антонов рассказать до конца о своей ссоре с хозяйкой, в голове моей уже созрел коварный план. Антонов доверчиво пошел в расставленную ловушку, и в тот же вечер мы поменялись комнатами.

Я чувствовал себя, как Петр Великий после Полтавы, когда вечером укладывался на жесткой раме Антонова. Наконец-то я могу спать спокойно!

Но блаженство мое длилось недолго. Через три дня ввалился ко мне Антонов, и, грузно опускаясь на кровать, заявил:

— Как хочешь, а в этой комнате я не останусь!

— Что, опять поссорился с хозяйкой? — поспешил спросить я.

— Какой черт поссорился... Куле Ивановна — прелесть старуха... Лучшей хозяйки не надо... А скажу прямо: мне там жутко. Ну, чего смотришь? Скажешь, Антонов пьян? Ну да, пьян, а тебе что? Потому и рассказываю, что пьян. А вчера не был пьяным, ей-Богу... И позавчера... А вот, тоска берет, черт ее знает, с чего... Стучит, всю ночь стучит, в дверь, в окно... Вот же, знаю, что это — ветер, а не могу. Такой страх нападает... Я очень суверен, ей-Богу... Ты не знал этого? И вот, можешь меня убить, если в этой проклятой комнате не случится со мной чего дурного... Нет, ни за какие коврижки не останусь я там... Ведь ты знаешь, — он для чего-то понизил голос — что это комната — номер тринадцатый?

— Как тринадцатый?

— Ну да... А ты думал, третий? Нет, брат, дудки-с... Я с электрическим фонариком рассмотрел: единица стерлась, одна тройка осталась.. Да и рядом — № двенадцатый... Ну, а ты ничего не замечал в этой комнате?

Он подозрительно посмотрел на меня. Я видел, что никакие выкрутасы не помогут, и сознался, что подвел товарища.

— Ну, попробую завтра ткнуться к кому-нибудь из коллег, а сегодня ты обязан, в наказание, идти со мной туда. Ишь, подвел товарища, чертова кукла... Но я не злопамятен. Наоборот, благороден и великодушен: такой водкой

угощу, что пальчики оближешь...

— А на тот свет не отправлюсь? Вот, например, денатурат...

— Денатурат, — обиделся Антонов — Сам ты денатурат, чертова твоя бабка! У меня микстура самая безвредная: *spiritus vini*, сироп и *aqua distillata*!

Мы здорово наклюкались в тот вечер, но и это не помогло: в пьяном бреде видели всякие ужасы. Поминутно окликались друг друга. Я просил у Антонова в чем-то прощения. Тот рыдал, уверяя, что ему жаль расставаться с молодой жизнью... Еще, слава Богу, не напал на него буйный стих.

На другое утро Антонов перебрался к какому-то товарищу, у которого арендовал свободный диван до конца семестра.

Потом подошли праздники, я уезжал в Питер, а вернувшись, как-то мало встречался с Антоновым, занятый подготовкой к экзаменам — надо было много нагонять, и как-то забыл даже о существовании комнаты № 3.

Увиделся я с ним в начале февраля на концерте. Он был с двумя курсистками. Пошли их провожать, куда-то в конец Звездной.

— Интересно знать, живет ли кто в проклятой комнате? — сказал на обратном пути Антонов.

— Да, — сказал я, внезапно вспомнив мое в ней пребывание, — пойдем, посмотрим в окно — недалеко...

Окно выходило, как я, кажется, говорил, через пустырь на Звездную. Был второй час ночи, но окно светилось ярким светом. Занавески были отдернуты, ставни не закрыты, и мы увидели студента в синей рубаше, нагнувшегося над чертежом.

— А ведь это Бауэр, — воскликнул Антонов, обладавший прекрасным зрением, — ей-Богу, он.

Действительно, это был Бауэр, один из тех молодых людей, которые, кажется, уже рождаются примерными. В гимна-

зии переходят из класса в класс с наградами, в университете аккуратно посещают все лекции, записывая все в чистенькие тетради, быстро сдают все зачеты и считаются у начальства «благонамеренными» и «положительными». Товарищи относились к Бауэру слегка насмешливо, пользовались беззастенчиво его записками и называли «немцем», на что он очень обижался.

— Зайдем, подразним немца, — предложил Антонов, — интересно знать, реагируют ли его немецкие нервы на чары комнаты номер тринадцатый...

— Кругом идти не стоит. Когда я жил еще здесь, по вечерам я всегда перелезал через забор. Там, за углом, ниже и без гвоздей...

Мы перемахнули через забор и стукнули в окно. Надо было видеть, как изменился в лице Бауэр, вздрогнул, вскочил и остекленевшими глазами уставился на дверь. Мне стало жалко товарища, и я громко крикнул:

— Открой, Бауэр, окно, это товарищи.

Немчик овладел собой и открыл половинку окна. Мы влезли.

— Испугали мы тебя, дружище, — довольно бестактно начал Антонов, — но мы, проходя мимо, узрели у тебя огонь, и нам захотелось знать твои впечатления об этой комнате...

— Об этой комнате? Но кто... кто вам мог сказать?

— Значит, и ты, Брут, — засмеялся Антонов, а я нехотя пояснил, что мы жили в этой комнате до него.

— Значит, и вы знаете, — облегченно вздохнул Бауэр, — а я думал, что схожу с ума... Я живу здесь около месяца... но здесь очень... неприятно... (он не хотел сказать «жутко» — или вовсе не знал этого выражения). — Я не знаю, что это: стучит всю ночь, в окно, в дверь, в стены... И чувствуешь, что не один. Зажжешь свечу — никого... А чувствуешь, что кто-то есть... Стоит за спиной... ходит... Ведь вы не смеетесь надо мной, нет?

Он был так бледен, и на лице его был написан такой страх, что сердобольный Антонов шепнул мне:

— Ишь, трусил, немчура... Ну, Бог с ним — посидим у

него немного...

Бауэр не просил нас остаться, но видимо, был очень рад нашему присутствию. Мы переменяли тему разговора и посидели с ним до утра...

Через неделю мы узнали, что Бауэра свезли в больницу. К нему никого не пускали — он был без сознания. Через десять дней мы проводили его на кладбище...

Антонов, известный своей чисто бабьей болтливостью, разнес по всему университету историю о комнате № 3 и бедный Бауэр, которым в жизни интересовались мало, только снисходительно подтрунивали над ним — теперь, после смерти, стал героем легенды. Передаваясь из уст в уста, украсилась она тысячью подробностей, и в свободное время ходили компанией на Лунную, осматривать роковую комнату. Но поселиться в ней, к великой досаде дворника и Куле Ивановны, не решился никто.

— Уж очень неудобен вход...

Однажды была попойка у студента Гайдашвили. Богатый и независимый, он жил на широкую ногу, и в тогдашнее трезвое время умел доставать и вино, и коньяк — в любом количестве.

Не помню, как зашла речь о Бауэре. Дамы заинтересовались. Пришлось рассказать все сначала, со всеми легендарными подробностями. Хорошенькая брюнетка — Клара или Катя — не помню хорошо, стала дразнить нас, что никто не хочет там поселиться.

— Храбрые студенты двадцатого века... Люди без предрассудков, — издевалась она.

Гайдашвили почувствовал себя задетым.

— Не имею ни малейшей охоты забираться так далеко и бросать свое хорошее помещение (у него была шикарная комната в центре) — будь это ближе, я завтра переехал бы на Лунную.

Мы видели, что Гайдашвили рисуется перед дамами. Ну и пусть бы — да снова испортил все дело Антонов.

— Не хвастай! — крикнул он через стол.

Черные глаза Гайдашвили сверкнули.

— Ты отлично знаешь, что я от своих слов не отказываюсь... Хочешь, я завтра же перееду на Лунную?

— Не переедешь, — упрямо твердил пьяный Антонов.

— Перееду. Хочешь пари?

Хорошенькая брюнетка, равнодушная к хозяину, испугавшись результата своих необдуманных насмешек, стала упрашивать Гайдашвили не делать этого, но просьба ее еще больше подзудила его.

— Вот, все вы свидетели, — если комната свободна, я завтра же найму ее и проживу в ней ровно месяц. Довольно, или хотите два?

— Довольно! — закричали со всех сторон.

— Значит, ровно через месяц я угощаю вас в той комнате шикарным ужином. Приглашаю всех присутствующих. Если я не выдержу и съеду раньше, я плачу Антонову пятьдесят рублей. Ладно?

Антонов не сразу протянул ему руку — так ошеломила его щедрость товарища. Всем было известно, что у Антонова не водилось почти никогда не гроша и жил он больше на милость товарищей.

Они ударили по рукам. Попойка продолжалась.

Когда мы возвращались на рассвете от Гайдашвили, то все, кроме Антонова, как мертвое тело повисшего у меня на руке, были уверены, что продолжение попойки через месяц, на Лунной.

Гайдашвили сдержал свое слово, и на следующий же день переехал на Лунную, оставив за собой и другую квартиру. Целую неделю надоедали мы ему расспросами, но он уверял, что спит отлично, и, чтобы не раздражал его стук, закрывает ставни и приделал к дверям задвижку.

Удивительно, как не догадался никто из нас: для того, чтобы прогнать нечистую силу, нужны только две самые простые вещи: задвижка и ставни!

Шла уже третья неделя, как вступило в силу пари Гайдашвили. Я довольно наблюдателен, и мне стало казаться, что он немного изменился. Стал более нервным, рассеянным. Он всегда был очень скрытен, но что же можно скрыть в Юрьеве? — Конечно, мы все знали кое-что о его романе. Его любовь была прелестная миниатюрная женщина, изящная, как куколка. Мы часто видели их вместе в кинематографах. Но с некоторых пор они перестали показываться вместе, а ее видели с другими. Было ясно, что у них что-то произошло... Поэтому мы и не удивлялись происшедшей в Гайдашвили перемене, впрочем, не слишком бросавшейся в глаза — Гайдашвили завидно владел собой.

Было уже девятое апреля. Мы строили планы насчет ужина, предстоящего через четыре дня. Только Антонов ходил мрачнее тучи, отвечая на все расспросы сквозь зубы:

— Плакали мои денежки...

Мы понимали его — для него пятьдесят рублей были целым состоянием...

И вдруг, вечером девятого апреля, университет облетела сенсационная новость:

— Гайдашвили застрелился!

Его нашла вечером Куле Ивановна, принеся чай, лежащего посреди комнаты с простреленным виском...

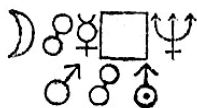
Мы конечно, склонны были видеть в самоубийстве романическую подкладку, если бы не оставил Гайдашвили конверта, адресованного Антонову. В нем было пятьдесят рублей и лаконическая записка:

— Ты выиграл пари...

Когда в начале прошлого года, уже офицером белой армии, я снова попал в Юрьев, меня чуть ли не первым делом потянуло посмотреть на роковую комнату. Но, когда я

подошел к углу Лунной, меня ожидало большое разочарование: на месте флигелька возвышался новый двухэтажный деревянный дом.

Перешло ли таинственное влияние на новые помещения, или умерло оно вместе с комнатой номер три — выяснить мне так и не удалось, так как я остался в Юрьеве только четыре дня...



БРАСЛЕТ СТАРОГО ДАВИДА

Вернувшись из-за границы, я как-то стал разбирать содержимое ящиков моего письменного стола, и нашел там хаос домирозданный. Аккуратность не принадлежала никогда к числу моих добродетелей. Тут между юношеских стихов, любовных записок, сувениров от прекрасного пола и фотографий моей жены попался мне старинный браслет с рубином... Массивная драгоценность в виде цепочки, звенья которой гладкие, круглые, как медальоны... На одном из них виднеется еще полустертая монограмма NS с графской короной, на другом — громадный красный рубин.

Я долго-долго смотрел на браслет. Он говорил мне больше, чем эти фотографии, где она такая холодная... бесстрастная...

Кровавый, зловещий камень... Я впервые увидел его на столе моего старого друга Давида Ноэльсона, известного в парижских лучших кругах ювелира, антикара — и тайного ростовщика.

Богатый и независимый, я унаследовал от дяди-профессора, вместе с состоянием, страсть к археологии. Давид Ноэльсон (впрочем, никто и никогда не звал его по фамилии, для всех он просто Давид), был моим главным поставщиком и всегда приберегал для меня что-нибудь действительно ценное.

Впрочем, Давид не дрожал над каждым грошом, не торговался часами и бесовестно не обманывал, как многие из его соплеменников. Он продавал только действительно ценные вещи и держался с большим достоинством.

Когда я вошел в магазин, он занимался тем, что маленькой щеточкой и замшей чистил какие-то вещи. Луч заходящего солнца падал на стол и отражался, преломляясь в гранях рубина, невольно привлечшего мой взор. Меня удивило, что Давид быстро, как бы невзначай, прикрыл его рукой.

— Что вы там прячете, дружище? Показывайте-ка, что

у вас там.

Давид неохотно подал мне браслет.

— Да ведь это чудо отделки! — воскликнул я. — Давид, я хочу купить этот браслет.

— Продать его я могу, — неохотно ответил еврей, — но покупать вам не советовал бы..

— Почему? Или вы думаете, что он будет для меня слишком дорог? — самодовольно пошутил я.

— Нет, дорого я с вас не возьму... А впрочем... если для коллекции — то продам.

— А если не для коллекции? Не все ли вам равно, что я сделаю с браслетом?

— Мне все равно, *monsieur*. Я — бедный торговец, мое дело продать и купить... Но вы не простой покупатель... Вы — мой друг, *monsieur*, если позволено бедному еврею звать вас своим другом. И я не хочу вашего несчастья!

— Моего несчастья? Что вы хотите сказать этим?

— Если вы подарите браслет женщине, которую любите — наступит конец вашей любви.

Я искренне рассмеялся.

— Смейтесь, смейтесь над старым Давидом, он многим кажется смешным. А я мог бы рассказать вам много... и вы не стали бы больше смеяться.

— Историю браслета? Что же, рассказывайте!

Я уселся поуютнее в кресле времен Людовика XIV и приготовился слушать.

— Года три тому назад, поздно вечером, когда я закрывал ставни своего магазина — *monsieur* знает, что я всегда делаю это сам — к дому подъехал фиакр. Из него вышла дама под густой вуалью и спросила, может ли она еще поговорить со мной. Я провел ее в магазин и был очень удивлен, когда она откинула вуаль и я узнал в ней графиню С. Вы же знаете, конечно, графа С., о замке которого рассказывают в Париже такие чудеса? А между тем, все эти чу-

деса созданы при помощи старого Давида. Кто достал графу мебель для его гостиных времен Директории? Кто мог устроить римскую залу? Кто...

— Я верю в ваше искусство и в ваш вкус, Давид, — прервал я старика. — Итак, поздняя посетительница была графиня С.

— Да, она. Я видал ее в замке часто, но графиня была очень горда и никогда не говорила со старым Давидом. Я очень удивился, увидев ее.

— Мне нужны деньги! — сказала она и бросила на прилавок браслет. — Купите?

Я был так же поражен при виде браслета, как и вы.

— Но ведь это целое состояние, ваше сиятельство, — сказал я. — Неужели вам нужно так много денег? Если вашему сиятельству нужны деньги, я мог бы за небольшой процент...

Она нетерпеливо махнула рукой.

— Я хочу продать браслет! — повторила она. — Покупаете вы или нет? Иначе я отнесу его другому!

— Если вы непременно хотите продать... Но ведь это — фамильная драгоценность, ваше сиятельство...

— Неужели вам это не безразлично? — надменно произнесла она.

Я пожал плечами и назвал сумму. Я видел, что графиня не имеет понятия о ценности браслета. Я — бедный торговец, *monsieur*, но я честный человек. Я предложил ей, сколько мог, оговорившись, что сейчас могу, за поздним временем, дать только половину, а остаток привезу завтра.

— Хорошо, — ответила она, пододвигая мне браслет.

Если бы я не знал, кто говорит со мной, я подумал бы, что вещь краденая и от нее хотят отделаться. Мне показалось, что глаза графини сверкнули радостью, когда я запер драгоценность в шкаф. Она сунула деньги, не считая, в сумочку и пошла к выходу.

— Мне кажется, ваше сиятельство, что вам не столько нужны деньги, как вы хотите отделаться от браслета, — не утерпел я, чтобы не высказать своей догадки.

Она быстро обернулась и по надменному лицу ее про-

бежала какая-то тень.

— Вы правы, Давид, — сказала она — браслет этот принес мне несчастье... большое несчастье... ну, теперь я продала его...

Я не знал, в чем было дело, но догадываюсь, что там была какая-то трагедия любви. Графиня, говорят, очень любила своего мужа... Ну а он... Ведь вы же знаете графа С. ... Его похождения известны всему Парижу...

Впрочем, я скоро забыл эту историю. Какое дело Давиду до романов его клиентов? Я почистил старое золото и положил браслет на видное место в витрину. Его купил у меня уже через неделю полковник Р., чтобы подарить своей возлюбленной Мадлэн Дорэ... Вы помните, конечно, сестер Дорз, «королев воздуха», имя которых долго не сходило со столбцов французской печати?

— Ну, еще бы! Все газеты были полны заметками о трагической участи обеих сестер. Одну из них, если не ошибаюсь, зарезал из ревности ее любовник, другая сделалась жертвой несчастного случая в цирке?

— Ну вот, полковник Р. подарил браслет своей возлюбленной Мадлэн. Мадлэн была особа легкомысленная. Она была красива, гораздо красивее своей сестры. У нее была масса поклонников. Ей доставляло высшее наслаждение мучить их, натравливать друг на друга...

Но не со всеми можно играть... Это пришлось узнать Мадлэн в ту страшную ночь после бенефиса... Полковник Р., которого сначала подозревали в убийстве, доказал, что он ушел от Мадлэн в 3 часа ночи, а убийство, по заключению врачей, было совершено часов в 6 утра... Ну, да что я рассказываю — вы же знаете все это из газет...

— Помню, помню... И как убийца-наездник пришел в полицию и сознался... Но какое же отношение имеет браслет к смерти Мадлэн?

— Ее убили именно в тот день, когда она получила бра-

слет... И он был на ее руке... Адольфин часто потом со слезами на глазах рассказывала мне, как она увидела в то утро сестру: кровь на белой ночной рубашке, кровь на руке... и этот рубин, как капля крови...

— Все это очень поэтично, милый Давид, но я советовал бы вам ближе к делу... Или это все?

Давид грустно покачал головой.

— Нет... Не все... Наследницей после Мадлэн была, — продолжал он, помолчав, — Адольфин, ее младшая сестра, Они не особенно ладили и никогда не жили вместе. Сестры были слишком различны во всем. Адольфин была скромной девушкой и сумела, несмотря на свою молодость, так поставить себя, что ее уважал даже грубый цирковой персонал. После смерти Мадлэн она поселилась там, наверху... Она продала мне много вещей своей сестры. Адольфин нуждалась в деньгах, а заводить богатых поклонников не хотела... Мы встретились сначала случайно на лестнице... Потом она приходила ко мне продавать вещи... После стала заходить поболтать... Славная Адольфин! Она была так добра к старому Давиду, так ласкова и предупредительна. У меня никогда не было дочерей... Я привязался к ней, как к дочери... Когда она входила в магазин, мне казалось, что солнце озаряет комнату...

— Да я вижу, вы были просто влюблены в нее, — неосторожно пошутил я.

Лицо Давида стало грустным и я пожалел о сказанных словах.

— Что я — я старый, седой еврей... А она была известная артистка... Но она была очень добра к старому Давиду...

Я относился к ней, как отец, и меня очень огорчило, когда я заметил, что ее по вечерам начал провожать какой-то господин. Два раза он зашел даже к ней наверх... Однажды я увидел его ближе и узнал. Это был капитан В., имевший со мной раньше финансовые дела, крайне легкомысленный человек из аристократической семьи. Я, грешным делом, подумал, что Адольфин пошла по стопам покойной сестры и, на правах старого друга, решил предостеречь ее.

Но она улыбнулась своей светлой улыбкой и отвечала:

— Вы напрасно думаете это, Давид... Это — мой жених. Да, да, он женится на мне...

Я в душе сомневался в искренности его намерения. Впрочем, я знал капитана В. за человека, хотя довольно легкомысленного, но вполне порядочного. Я от души пожелал счастья моей маленькой Адольфин.

Сначала она часто рассказывала о женихе, с гордостью любящей женщины выискивая в нем новые и новые хорошие качества. Потом стала говорить реже, и наконец, начала совсем избегать разговора о нем. Адольфин заметно начала грустить. Я понял, что она переживает всю тяжесть первого разочарования. Я в душе возненавидел легкомысленного капитана, который не сумел оценить привязанности этого милого ребенка, но расспрашивать не хотел, пока не придет она сама и не расскажет мне своего горя.

Однажды в воскресенье зашла она ко мне после дневного представления, расстроенная и бледная. Я хотел дать ей время успокоиться, и, чтобы затеять посторонний разговор, сказал, указывая на браслет:

— Вы раньше не носили его, мадемуазель Адольфин?

Но я был сам не рад этой вырвавшейся у меня фразе. Глаза ее сверкнули злым огнем, она враждебно посмотрела на красный глаз браслета и ответила:

— Я так жалею, что надела. Я не хотела никогда носить его — он слишком напоминает мне смерть Мадлэн... Но в пантомиме «Египетские тайны» надо к костюму браслеты, и на руках, и на ногах... Никогда не надену его больше... В первый и последний раз... Противный браслет...

Я хотел спросить, что ей сделал браслет, но в эту минуту в магазин вошли две покупательницы... Пока я начал показывать им брошки, Адольфин вышла из магазина.

Вы читали о страшной смерти Адольфин? — Она оборвалась с трапеции во время одного из лучших номеров и умерла через день. Я навестил ее в больнице. Бедняжка, она лежала вся в бинтах, и голова, и руки, и ноги... Адольфин узнала меня и улыбнулась.

— Спасибо, что навестили меня, Давид... Вы всегда были ко мне так добры. Я знаю, что умру. Возьмите все мои

золотые вещи... И тот браслет... с рубином... Только продайте его... Лучше сохраните на память обо мне что-нибудь другое... Браслет этот принес мне несчастье... Я вижу, у вас на глазах слезы, мой славный Давид... Обо мне плакать не надо... Мне лучше умереть... Помните, я раз надела браслет на дневное представление. Когда во время антракта Франсуа зашел ко мне, он увидел браслет и сделал мне сцену... Он не верил, что это браслет моей покойной сестры... Осыпал меня упреками, что я принимаю подарки от мужчин, говорил, что я беру пример с моей сестры... Всячески оскорблял меня и в заключение сказал, что на таких не женятся...

Он был совсем не так страшно ревнив, и эта грубая сцена была для меня новостью... Я так любила его, так слепо верила ему, что не могла и подумать, что все это — комедия, предлог, чтобы отделаться от меня...

Как это ни чудовищно, но это оказалось правдой... Он не любил меня больше — у него была другая... Я все еще не верила, смеялась над своими подозрениями, и когда два встретила его с той женщиной, поверила его словам, что это случай. Я внимательно разглядела ее. Но зеркало говорило мне, что я гораздо лучше...

Вчера вечером мне предстояла трудная работа. Я только что разучила три новых номера и должна была впервые продемонстрировать перед публикой.

Выйдя на арену, приветствуемая аплодисментами, я, по привычке, искала глазами его. Но его не было в ложе. А между тем, я чувствовала, что Франсуа тут, понимаете: чувствовала. Я заметила его, когда мне спустили канат. Он сидел в ложе фабриканта Г. и опять с той дамой. И теперь я узнала, кто она — это была дочь фабриканта. Узнала — и поняла все!

Единственная дочь миллионера-фабриканта — и бедная цирковая артистка с сомнительными родственными связями...

Я не могла сохранить в тот вечер хладнокровия и выдержки, столь необходимых в нашем ремесле. В самые опасные моменты, когда все мысли должны были быть сосре-

доточены на одном — я искала глазами Франсуа... У меня прекрасное зрение: оттуда, из-под потолка, я заметила, как нагнулся он к своей соседке и поднес ее руку к своим губам. Я не знаю, что это было: оступилась я или не хотела удержаться... Все потемнело у меня в глазах. Я закричала... А потом какие-то крылья подхватили меня и понесли вниз...

Я умираю, Давид, и это хорошо... Он заходил сегодня утром. Сидел всего каких-нибудь пять минут... Я же знаю — он не любит больных и вид больниц ему неприятен... А я ведь умираю из-за него... Ну, пусть они будут счастливы...

Я не мог скрыть своих слез. А она грустно улыбалась и говорила:

— Не плачьте, Давид, не надо.

Наутро она умерла...

Вот и все.. Я спрятал браслет. Выставить его в витрине теперь казалось мне профанацией...

Вы хотите купить его... Что же, я продам, возьмите его в свою коллекцию — там он не принесет больше зла никому... Но послушайтесь старого Давида: никогда не дарите его той, кого любите!

Давид замолчал. Как сейчас, вижу его худую, слегка нагнувшуюся фигуру с седыми длинными волосами, делавшими его похожим на ветхозаветного патриарха. Косой луч солнца оставил длинную светлую полосу на его сморщенном лице, играл на рубине браслета, казавшемся каплей крови...

Пробило шесть часов. Я вскочил. Мне предстояло в шесть деловое свидание. Я сунул браслет в карман, дал Давиду чек на нужную сумму и поспешил к выходу. В девять часов я был зван в скучнейший семейный дом, но отказаться было нельзя... Выходя из ресторана, где у меня была деловая встреча, я взглянул на часы. Было восемь. Ехать домой переодеваться не было надобности — я был уже одет. Решил заехать на часок к Лолотт. Она встретила меня как-то надуту.

— Я целый день ждала от тебя цветов! Теперь уже вечер... Но ты приехал сам! Ну, что же ты привез своей маленькой Лолотт?

Боже, как я мог забыть! День ее рождения! Она смотрит на меня своими большими наивными глазами, ожидая сюрприза... Я чувствовал себя крайне глупо. И вдруг меня осенило: браслет!

Было немножко жалко, сознаюсь, расставаться с редкой ценной вещицей, но огорчить Лолотт я не мог! Надо было видеть эту детскую радость, эти крики восхищения, эти благодарные поцелуи!

Впрочем, застегивая браслет на худенькой, полудетской ручке, вспомнил слова Давида:

— Не дарите его той, которую любите!

Я никогда не был суеверен. И притом — Лолотт была очень милым ребенком, прелестной игрушкой, но любить? — Я никогда не считал эти отношения любовью...

Оставив Лолотт радоваться щедрому подарку, я поехал в гости. На этот раз, впрочем, был исключительный случай: вместо десятка обычных старых дам было довольно молодежи, интересные барышни. Одна из них особенно заинтересовала меня — да и кого она не заинтересует! Она была очень красива, держалась непринужденно, но с большим достоинством и как-то выделялась среди остальных, разряженных и пустых хохотушек. Не помню, как разговорился я с ней и каким образом перешли мы с ней на такие серьезные темы. Меня поражал ее ум, ее здравые суждения. До сих пор я смотрел на женщин, как на красивую игрушку, слегка свысока. В Клэр я увидел нечто совсем новое.

Наше сближение пошло очень быстро. Судьба сталкивала нас всюду. Клэр охотно разговаривала со мною, интересовалась мною, как человеком, — но и только. Я же был безумно влюблен.

Смелый, даже подчас нахальный с женщинами — перед Клэр я робел и долго не мог сказать решительного слова.

Наконец, Клэр стала моей невестой... Но Лолотт? — Надо же было порвать с нею. Долго откладывал я неприятное объяснение и отправился к ней за три дня до свадьбы. Го-

ворил много красивых слов — как говорим мы, мужчины, всегда в подобных случаях, которым не верил ни я сам, ни она. Потом поцеловал ее заплаканные глазки, положил на туалетный столик между баночками и флакончиками чек на солидную сумму и ушел, считая себя освобожденным.

На другой день товарищи подбили меня справить мальчишник. Было шумно, весело, пьяно. В самый разгар веселья раздался звонок. Я отворил дверь сам и был очень удивлен, увидав Лолотт.

— Зачем ты? — вырвалось у меня. — Я пригласил бы тебя войти, но там много твоих знакомых... не знаю, будет ли тебе приятно встретиться с ними.

— Я только на минутку, — ответила Лолотт, глотая слезы, — хочу вернуть тебе это, — и она протянула мне футляр. — Не хочу носить его, — крикнула она капризно, — он принес мне несчастье. С того самого дня, как я надела его, ты изменился.

Она заплакала, бросила футляр на стул — я медлил брать его — и ушла.

Одну минутку я простоял еще в передней, потом сунул футляр в карман и пошел к товарищам. На полу лежало что-то белое. Нагнулся, поднял. Это был мой вчерашний чек, выпавший из футляра.

Любила ли меня когда-нибудь Клэр? — Не знаю. Первые медовые месяцы я был очень счастлив. Не говорю: мы были счастливы, потому что не думаю, чтобы такие натуры, как Клэр, могли когда-нибудь чувствовать себя вполне счастливыми. Я безумно любил ее. Она как будто тоже была ко мне привязана — но душа ее все же оставалась от меня полузакрытой. От этого и была между нами вечная недоговоренность, какая-то легкая тучка.

Она позволяла себя любить, а я, как нищий, довольствовался теми крохами, которые она мне бросала. Я был рабом, она — моей повелительницей.

Прошли два года. Первый мы почти целиком провели за границей — в Италии, Лондоне. Потом вернулись в Париж.

Не знаю, как наткнулась жена на злосчастный браслет, но однажды я увидел его у нее на руке.

Никогда не был я суеверным. Но тут какое-то недоброе предчувствие сжало мое сердце. Вспомнил рассказы Давида, Лолотт... Бедная Лолотт, я слышал как-то, что она опустилась очень низко.

Я просил Клэр не носить браслета. Рассказал ей, что узнал от Давида, умолчав о том, какую роль сыграл браслет в судьбе бедной Лолотт. Но жена только рассмеялась и, словно назло мне, стала носить его ежедневно.

Мне тяжело вспомнить тот вечер, когда Клэр сказала мне, честно и открыто, что любит другого.

Мягко, чтобы не сделать мне слишком больно, говорила Клэр, что не нашла во мне того, что искала. Что всегда старалась полюбить и понять меня... Но поняла только, что мы не подходим друг к другу. Теперь ей встретился человек, который понял и оценил ее вполне, с которым она будет счастлива...

Я вел себя недостойно в ту ночь. Я плакал, целовал ее руки и ноги, умолял не покидать меня, вернуть утраченную любовь.

Ведь я же был раб, она — повелительница...

Года три не был я в Париже. Я не вернулся бы и теперь, но меня призывали неотложные дела, — умерла моя тетка, и мне надлежало привести в порядок вопрос о наследстве.

Я не наводил справок о Клэр, я не знал даже, жива ли она. Впрочем, как-то, около года назад, мне сообщили, что, вскоре после развода со мной, она вторично вышла замуж, но как-то неудачно. Я же знал, что Клэр никогда не найдет счастья.

Но рана еще не зажила — я все еще любил Клэр, хотя старался заставить себя не вспоминать о ней...

Открыв ящик своего письменного стола, я наткнулся на браслет старого Давида с его несчастным кровавым камнем. Долго смотрел я на этот красный камень, искрившийся и переливавшийся при свете горевших в камине углей. Что за тайная сила в нем? Почему он приносит проклятие всем, кто имеет несчастье его коснуться? Может быть, Давид знает больше, чем хочет сказать. Ведь эти старые евреи, говорят, знакомы с многими науками, которых не знает или не признает современный ученый.

Я должен узнать тайну браслета!

Давно уж не был я в темном переулке, где находится магазин Давида. Много изменилось там за эти годы, изменился и дом Давида. Окна были закрыты, дверь магазина заколочена, вывеска как-то потускнела, на грязных и без того стенах образовались новые подтеки.

Может быть, сегодня какой-нибудь еврейский праздник? Может быть, Давид переехал в лучшую часть города? Я решил, что звонить и стучать напрасно, и обратился к стоявшему недалеко полицейскому. Тот уверял меня, что дом стоит заколоченным больше года и что о хозяине ему ничего не известно. Только грязный, оборванный мальчишка, слышавший мой вопрос, оскалил зубы и с каким-то злорадством сказал:

— Жид умер! И уже давно!

Я дал ему на чай и медленно побрел по улице...



СТАРАЯ НАСЫПЬ

Будучи студентом Московского университета, я был командирован на практические работы в одну из северо-восточных губерний. Там производились предварительные изыскания по постройке новой железнодорожной ветки. Места были хлебородные, и можно было только удивляться, что не догадались сделать этого раньше, тем более, что до ближайшей станции было всего семьдесят верст. Теперь было решено построить там узкоколейку.

По правде сказать, я немного удивлялся, как странно был составлен черне — конечно, там, где-нибудь в центре — план. Почему-то в некоторых местах предположено было отхватить целые участки прекрасной крестьянской земли, оставляя в стороне лес. Разве не лучше было пожертвовать частью казенного леса, чем портить поля? Бог их знает, чем они руководствовались... Мое дело маленькое...

Не могу сказать, чтобы я был слишком доволен своей судьбой. Работа была сама по себе интересная — но я буквально не знал, чем занять свой досуг, а свободного времени у меня была масса. Инженер был человек мрачный и неразговорчивый, добиться от него слова было очень трудно. Помощник его каждую свободную минуту бывал пьян. Жил я у крестьян. Нечего и говорить про то, что отношение к нам было, если и не прямо враждебное, то все же не особенно приветливое. Вполне понятно: ведь мы производили работы на их лугах и крестьянам было ясно, что мы намерены отхватить куски их земли. До ближайшего города было восемь верст, да и делать там было нечего. Кроме «рестораций» — а в них я не хожу — было одно жалкое кино, где показывали всегда какую-то допотопную программу. А в единственной библиотеке, кажется, кроме классиков да старой «Нивы» и «Природа и люди», получить было нечего. С тоски я стал перечитывать и Достоевского, и Гончарова, и даже Гоголя... Но вскоре и в библиотеке, кажется, не осталось ничего... Да и дорога в город была скверная,

часто не пойдешь. Оставалось одно — гулять, гулять... Да, если позволяет погода.

Было воскресное утро. Не люблю воскресенья. В будни-то еще полдня уходит на работу, а в воскресенье буквально не знаешь, что делать. Крестьяне потянулись в церковь. Она была в трех верстах. Я, хотя и жил в деревне уже третью неделю, но как-то не удосужился еще побывать в церкви. Не скажу, чтобы я был неверующим — просто, как вся тогдашняя молодежь, был вполне равнодушен к религии. Вернее, к ее обрядам. Да к тому же два последних воскресенья шел дождь, и я предпочитал спать до полудня.

Я вышел в лес; там я исходил уже многие дороги и тропинки, но сегодня решил свернуть на зеленую дорожку, на которой не был еще ни разу. Она давно привлекала меня, но, так как всю вторую половину апреля были непрерывные дожди, то на дороге стояли кое-где настоящие озера и пройти было невозможно. Но теперь я заметил, что дувший последние три дня северный ветер подсушил. Было еще, конечно, сыро, но в высоких сапогах, как у меня, пройти было можно. Живописная дорога эта вела между целыми рядами одетых свежей зеленью лип и берез, кое-где перемежающихся елями. На солнце, несмотря на середину мая, было уже жарко, а здесь хорошо. Где-то в чаще, у темной лесной воды, начинал соловей. Над лесом плавал звон сельской церкви. На всем была разлита благодатная радость майского утра. По дорожке, видимо, не ездили уже давно. Она местами заросла совсем. Посреди колеи, из которых выбивалась трава, выскакивал смешно какой-нибудь одуванчик, душистая лесная гвоздика, а то и целые кустики — молодая береза или ель. Я осторожно обходил их — будущий лес...

Что-то белое привлекло мое внимание там, впереди. Как будто бы белая песчаная горка. Я знал, что здесь вовсе нет песка — только чернозем и глина. Но белое было слишком

похоже на песок. Когда я подошел ближе, удивлению моему не было границ: передо мной была — железнодорожная насыпь!

Железнодорожная насыпь — в каких-нибудь трех верстах от проектируемой новой дороги! Может ли это быть? Но это была насыпь — правда, очень старая. Она была кое-где разрушена, попорчена ветрами, которые здесь часты, особенно осенью и зимой. К востоку она уходила в густой лес, к западу виднелся какой-то просвет. Может быть, там начинались поля. Я пошел туда. Кое-где насыпь сохранилась еще хорошо, кое-где совсем обвалилась. Между рельс там и здесь росли маленькие березки — будущий лес. Дойдя до опушки, я увидел, что насыпь идет по ровному открытому месту. Я поднялся и пошел по ней. Судя по кочкам, по обеим сторонам насыпи было болото. Но я отошел недалеко — насыпь почему-то обрывалась, словно ее не провели дальше. В болоте, заметил я впереди, валялась одинокая заржавленная рельса.

В недоумении постоял я несколько минут, прежде чем повернуть обратно. Вот, мы строим новую дорогу, режем крестьянские поля, а тут — в двух шагах, — готовая насыпь. Если нельзя было вести дальше по болоту — можно же было свернуть в лес, там, знаю я, почва далеко не везде болотистая... Отчего не хотят воспользоваться этой старой насыпью, почему-то, очевидно, не доведенной до конца?

Эти мысли не давали мне покоя, когда я возвращался домой.

Я жил у крестьянина Седова. Это был один из самых зажиточных и влиятельных крестьян деревни. Мне было у него сравнительно удобно — насколько может быть удобно в крестьянской избе, неприспособленной для того, чтобы в ней помещался посторонний. Отношение его ко мне было более или менее сносное. Столовался я тоже у них. Кормили просто, но сытно. Я очень люблю молоко. А молока у

них была масса — и какого!

Когда я вернулся, вся семья сидела за обедом. Ужинал я, по большей части, в своей каморке (комнатой назвать не рискую), но обедал со всеми. Мне положили на тарелку громадный кусок пирога с капустой и я жадно принялся за него. Когда я утолил первый голод, я перешел к занимавшему меня вопросу. Обычно крестьяне не любят много говорить за обедом, но у Седовых не было так строго. Поэтому я и рискнул спросить:

— Что это за насыпь там, в лесу? Там строилась когда-нибудь железная дорога? Ее не достроили? Почему?

Мой совершенно безобидный вопрос произвел на всех какое-то странное впечатление. Дети вытаращили на меня глаза, словно я сказал что-нибудь страшное. Мать протяжно вздохнула. Старший сын Антип задумчиво опустил глаза. Двенадцатилетняя Аксюша хотела как будто что-то сказать, но посмотрела на брата и не сказала. Только Седов пробормотал — и как-то злобно:

— Строили... Да лучше бы не начинали!

Я собирался предложить дальнейшие вопросы — уж очень меня томило любопытство, когда открылась дверь и вошел сосед Седова, Петров. У них, чуть ли не сразу, начались какие-то «посевные» разговоры. А я знал по опыту, что таким разговорам нет конца. Я пошел к себе и, с досады, принялся за лекции, которые намерен был повторить за лето. Но мысли мои все возвращались к странной насыпи.

Мне не читалось. Я бросил записки и подошел к окну. За кустом малины, прямо под моим окном, копошилась Аксюша.

— Аксюша! — позвал я. — Пойди сюда!

Она покорно подошла, глядя на меня своими красивыми глазенками. «Красивая будет», — невольно додумал я.

— Аксюша, ты что это хотела мне сказать, когда я за обедом спрашивал про насыпь?

Боялся, что девочка, пожалуй, не поймет слова, но оно оказалось ей знакомо.

— Отец будет сердиться... он не любит, — Аксюша оглянулась по сторонам.

— Ну, скажи, — приставал я, вертя в руках конфетку в бумажке. Соблазн подействовал. Этими конфетками я-то и приобрел расположение девочки.

— Поезд там ходит, — таинственно сказала Аксюша и снова оглянулась.

— Что ты говоришь! Как может там ходить поезд — насыпь ведь полуразрушена, рельсы заросли.

— Ходит, ходит, — упрямо настаивала на своем девочка.

— Аксюша, — позвал кто-то из сада. Девочка скрылась. Но слова ее еще больше разожгли мое любопытство.



Под вечер я встретился со своим хозяином в саду. Он внимательно рассматривал две доски, державшиеся в заборе не крепко.

— Скажите, Семен Антипыч, — начал я, — что же это за дорога, которую строили и не достроили? А?

— Строили там дорогу... лет так тридцать тому назад... — неохотно начал он. И замолчал, словно не хотелось ему говорить дальше.

— И не достроили? — спросил я.

— Достроили... — вырвалось у него. — А лучше бы л не начинали...

Он сплюнул в сторону.

— Говорили им старики: нельзя там строить... А вот не захотели послушаться: знамо — господа-то всегда лучше знают...

И опять разговор наш был прерван приходом Антипа.

— Отец, — сказал он, — батюшке лошадей дадим, что ли?

— А то нет? Не идти же обратно пешком на ночь глядя.

— Пойду запрягу... Он к нам сейчас придет. Матка уже самовар ставит.

Я уже раньше слышал, что отец Александр пользуется большой популярностью среди крестьян, но сам его ни разу еще не видел.

— А что, померла Аксинья? — спросил Седов.

— Да нет еще. И смерть не берет ее — отозвался, уходя, Антип, — третью неделю все помереть не может..

Батюшка подходил уже к калитке. Его встретили с большим почетом. Но рассмотрел я его, как следует, уже после, когда сели пить чай.

Я представлял себе сельского батюшку совсем иначе. Отец Александр был еще очень молод. Вряд ли ему было лет сорок. Во всей фигуре его было что-то слегка смущенное, почти юношеское. Он смотрел вокруг большими доверчивыми глазами и от этого казался моложе своих лет. Я поспешил ему представиться.

— Хороший вечер, — сказал он, — я шел сюда с удовольствием.

— Неужели пешком, батюшка? Ведь вы же устали за день. Служба в церкви... Разве некому было вас подвезти?

— Не хотели, — как-то виновато вздохнул батюшка, и сейчас же словно пожалел о сказанном.

— Не хотели, потому что Аксинья звала, — мрачно сказал Антип, — иначе каждый бы подвез.

— А если бы умерла без причастия? — спросил батюшка.

— А, ее и могила не берет! — грубо бросил Антип.

— Что это за Аксинья такая, которую знают даже на селе? — спросил я.

— Колдунья! — бросил хозяин.

— Нельзя так, — батюшка как-то сразу преобразился; с лица его слетело выражение застенчивости и нерешительности. Наверное, так он говорит и в церкви. — Как можно так... если у нее и были какие грехи, то теперь она исповдалась и причастилась, и спокойно ждет своей смерти, как истая христианка... Дай Бог всякому умирать столь готовым... Да и что дурного вы знаете про Аксинью? Только этот случай с железкой дорогой... Да ведь это было так давно. Да и вообще...

Я насторожился. С железной дорогой? Идет речь о той, которую я видел сегодня в лесу или о чем ни будь другом?

Чаепитие было окончено. Мать унесла самовар. Аксюша пошла помогать ей мыть посуду. Антип пошел к лоша-

ням. Седов тоже зачем-то вышел из комнаты. Мы остались с батюшкой одни. Я тотчас же использовал минуту.

— Батюшка, может быть, вы разрешите мое недоумение — какая там насыпь в лесу?

Батюшка внимательно посмотрел на меня.

— Так вы еще ничего не знаете? Вы сколько времени живете здесь?

— Почти три недели.

— И Аксинью не видали?

— Даже слышу о ней сегодня в первый раз.

— Ну, да впрочем, она лежит уже почти месяц... Так вы хотите знать о дороге? Ну вот... Ее начали строить тридцать пять лет тому назад — в год, когда я родился — батюшка опять почему то смутился. — Оно, конечно, «не судите да не судимы будете»... А как же не осудить? Вы видели то наше болото вблизи, нет? Ну, так надо сказать вам, что по нему вообще нет пути, разве что в очень жаркое лето, когда засуха.. Да и то может пройти только тот, кто хорошо знает. Когда начинали строить железную дорогу, говорили старики, предупреждали. Да не послушались господа строители... Оно и правда, перед тем два года засуха была, болото подсохло... Да ведь разве по-настоящему? Я видел, как теперь осушают болота: отводят воду в глубокие каналы, строят там дамбы разные... А там все как-нибудь делалось: насыплют песка, построят насыпь, просочится в нее вода, она осядет... Опять подсыплют... и так до бесконечности... А старики головой качают... А пуще всех Аксинья...

— Это та, которую называли сейчас колдуньей?

— Ужасная темнота, — вздохнул батюшка, — ужасная... Какая она колдунья — просто несчастный человек... Очень несчастный...

Я готов был проклясть Седова, который вошел в комнату.

— Лошади готовы, батюшка, — сказал он, — а то, может быть, еще чайку откушаете? Жена подогреет самовар.

— Нет, благодарствуйте. Уже поздно... Ну, dokonчу как-нибудь в другой раз, — обратился ко мне отец Александр. Но отделаться от меня было не так легко: его рассказ толь-

ко разжег мое любопытство.

— Если вы не имеете ничего против, батюшка, я вас немного провожу, — предложил я.

— Пожалуйста, — сказал батюшка со своей смущенной улыбкой. Мне, впрочем, так и казалось, что он думает:

«Ишь, как его разбирает любопытство...»

Повозка уже ждала. На козлах сидел одиннадцатилетний Ванюшка. Уже темнело. На небе проступали редкие звезды. Ванюшка стегнул кнутом и пегая лошаденка затрусила по ухабистой дороге.

— Итак, батюшка, вы остановились на Аксинье..

— Да, — отец Александр задумался. — Может быть, она уже скончалась. Очень плоха была, когда я приобщал ее сегодня... Да ей, верно, уже под семьдесят... а то и больше... Несчастливая женщина... на редкость несчастная... И как она несла свой крест... Отец рассказывал... Он был здесь священником до меня... Я и родился, и вырос тут, в селе... Так вот, очень несчастная была Аксинья в семейной жизни... Детей-то много было — да перемерли все, один за другим, осталось только двое. Старшего, Илюшку, так просто безумно любила мать... как любят одинокие женщины...

— Разве она была вдовой?

— Нет... Да муж ей попался такой... Бог знает, за какие грехи был он ей послан... Пьяница и буян... Бил ее страшно... увечил даже... Выбил глаз. Так и осталась она кривой... Отец пробовал было увещевать буяна — куда там... Он бил Аксинью еще больше: «Будешь ходить жаловаться на меня попу? Будешь?» А она никогда не жаловалась... Знаете, как умеет русская крестьянка нести свой крест...

Потом муж ее бросил, да и слава Богу — совсем бы еще убил... И детей бы, того и гляди, искалечил. Осталась Аксинья одна с двумя маленькими ребятишками. А как справлялась она со своей работой! Такая работница была, что хоть куда... Так работала она три года... Илюшке пошел уже восьмой годик, младшему, Мишутке — шестой. Так, говорю, любила она своего Илюшку безумно. И — надо же случиться греху — утонул он. В этом-то самом болоте... Пастушонком он тогда был... Нашли после одну корову около

болота... Корова-то глупая... Может, и забрела в болото... потом выбралась... Животные как-то чутьем знают, куда ступать. А вот человеку-то чутья этого не положено... Илюшато, видно, пошел за коровой — ну и погиб. Трупик-то, конечно, не нашли — где же, болото не отдает своих жертв. А шапчонка его лежала там... зацепилась за кустик болотный...

Аксинья тогда и свихнулась в первый раз... Смотреть на нее — рассказывал отец — страшно было. Забросила хозяйство, поля, мальчика... Его взяли соседи. На целые дни уходила из дома, бродила по болоту, и как это сама не утонула — ведомо одному Господу... Подходит к глубоким окнам, часами стоит, бормочет:

— Увижу его! Увижу!

Может, и померещился ей когда Илюша — только как-то сразу выздоровела. Как раз это было осенью, когда у других была рожь сжата... Схватила Аксинья за работу — так и горело у нее... Словно навестать хотела, что потеряно за эти месяцы... И ничего, совсем разумная опять стала.

Прошло года два. Начали строить дорогу. Я уже рассказывал вам, как нелепо — прости Господи — они это делали. Песка много надо было — у нас-то нет, так привозили его откуда-то. Когда проложили рельсы, целые поезда пошли: впереди паровозик, малюсенький такой, а за ним — восемь, десять тачек с песком. Ну, а как они возвращаются пустыми — тут то ребятишкам радость! Атакуют их, лезут, чтобы хоть немножко прокатиться. Рабочие ничего, добродушные были, позволяли... Сам я — мне тогда четвертый год шел, — снова улыбнулся своей смущенной улыбкой отец Александр, — умудрился с другими мальчишками несколько раз прокатиться...

Аксиньин Мишутка большой шалун был. Уж без него ни одно удовольствие не обойдется...

Ведь ездили ребятишки почитай что каждый день, все-

гда все хорошо было... А вот тут...

Батюшка перекрестился.

— И как это случилось — не понимал никто... Верно, вскочил как-нибудь Мишутка неловко, на ходу. Никто не заметил этого... Только нашли его потом раздавленным... Головку отрезало...

Ну, что тут с Аксиньей стало — и описать невозможно... Конечно, во всем стала она обвинять строителей. Как она проклинала, как проклинала их! И откуда только брались у нее такие слова, — говорил отец. Вторично помешалась она... Долго была такой...

Батюшка вздохнул.

— Дорога строилась года четыре — болото мешало... Все опускалась насыпь — подмывало ее... И уж привыкли рабочие — бродит вокруг женщина, и бормочет, бормочет:

— Прокляты вы все будьте! Чтобы никто никогда не проехал по этой дороге! Чтобы ни один поезд здесь не прошел!

Вот и говорят крестьяне, что накликала она...

Наконец, дорога была готова. Тут были две станции — одна между селом и болотом, ближе к селу, другая — в лесу, недалеко от деревни, где вы живете... между ней и следующей... Чтобы из двух деревень крестьянам было близко свозить на станцию хлеб... Видели вы в лесу обгорелые развалины? Нет? В ту сторону не ходили?

Ну вот, приняли дорогу. Как уж там смотрела выезжавшая на пробном поезде комиссия — не знаю. Лето было довольно сухое. Назначено было открытие на 2-е августа. Родовались крестьяне — повезут хлебушко железной дорогой.

Да человек предполагает, а Бог располагает...

Комиссия осматривала дорогу в первых числах июля. Нашла, что нужно сделать там какие-то мелкие исправления на сельской станции... В багажном помещении, что ли... Мелочи-то всегда заметят... Потому-то и отложили открытие до второго августа.

А вот как пошли тут дожди с двадцатого, с самого Ильина дня... И какие дожди... Как, знаете, в Писании, «отверзлись хляби небесные...» Да... Ведь совершенно ясно, что после такой погоды надлежало тщательно осмотреть пути. Ну,

как прошли дожди — на Первого Спаса было это — осмотрели дорогу, выезжали на дрезине... Но, кроме мелких повреждений, что бывает на насыпях всегда после больших дождей — ничего не обнаружили. И объявили открытие окончательно на 7-ое августа.

Дожди прошли. А на Преображение послал Господь такую погоду, такое ведрышко. Ну, отпраздновали праздник, освятили плоды и стали готовиться на следующий день к другому празднику. Со всех окрестных деревень пришли к нам смотреть, как пройдет первый поезд — было воскресенье, день нерабочий. Украсили станцию зеленью. Флаг повесили. Шильдик станции — молодой такой — суетился с раннего утра. Я хорошо все помню, мне шел тогда восьмой год. Отец служил всегда раннюю обедню — любят так крестьяне, но в тот день начал на полчаса раньше. После обедни, за чаем, отец спросил меня:

— Саша, хочешь пойти посмотреть, как пройдет первый поезд?

Это папа нарочно поддразнивал меня — я же целую неделю, как все мы, мальчишки, только и бредил поездом!

Отец пошел со мной. Мама не хотела — пироги ее еще не были готовы. Поезд должен был прийти на нашу станцию в двадцать минут двенадцатого. Народ запрудил станцию уже с раннего утра. Начальник, — вижу, как сейчас, — страшно суетился, делал вид, что ему надо установить порядок.

Багажа на этот первый поезд не принималось, и ему приходилось объяснять это многим крестьянам.

— В три часа пойдет второй, а потом — завтра, в 9 часов утра.

Он уже устал повторять это.

Два человека купили билеты. Ждали с ужасно важным видом. А мы, мальчишки, завидовали. Было одиннадцать часов. Четверть двенадцатого. Двадцать минут.

— Что — первый блин комом, опоздал поезд? — добродушно сказал отец, взглядывая на новенькие часы над станцией.

— Ну, ведь только одна минута прошла, — обиделся начальник. — Для начала вполне возможно, что не совсем рассчитали время.

Но прошла не только одна минута — пять... десять... полчаса...

— Не отменили ли почему-нибудь поезда? — высказал предположение отец.

Вместе с другими мальчуганами я побежал к болоту — посмотреть, не показалась ли там, вдали, машина. Но ее еще не было видно. Тогда начальник, который начал нервничать, справился на конечной станции. Ответили, что поезд вышел по расписанию. Начальник протелефонировал на ту, в лесу. Ответили, что поезд прошел ровно в одиннадцать часов. Начальник побледнел.

Одиннадцать часов... Следовательно, что-то задержало его в продолжении тех двадцати минут, что отделяли лесную станцию от нашего села...

Мы снова побежали к болоту. Поезда все не было.

— Сашка, там кто-то кричит! — внезапно сказал мне товарищ, Васька. Мы сначала рассмеялись — Васька любил болтать всякую ерунду. Но потом и нам почудились какие-то звуки, доносившиеся с болота. Только ветер был с другой стороны и относил их. Мы побежали к станции.

Пробежав немного, мы увидели, что по насыпи едет дрезина — это начальник, взяв с собой сторожа, обеспокоенный неприбытием поезда, поехал посмотреть, в чем дело. Мы стали махать им, кричать. Надо же было сообщить, что там кто-то кричит. Начальник подумал: мальчуганы просят, чтобы их взяли с собой, и отмахнулся.

Болото наше тянется на шесть верст. И вот, проехав около трех, начальник заметил несчастье: насыпь внезапно обрывалась — словно кто срезал ее — ну так же, как там, за лесом... Но он еще не верил в размеры несчастья.

«Наверное, — думал он, — машинист заметил, что с насыпью, и повернул обратно... Вероятно, поезд вернулся в город и с городской станции уже сообщили нам об этом». — Тут он услышал крики... Сойдя с дрезины, начальник подошел к концу обрывающейся насыпи, устремив зоркий

глаз на болото. И ему удалось разобрать — с большим трудом — ужасную картину:

На большое расстояние вместо насыпи тянулось болото с большими новыми окнами. Полупогруженные в болото, лежали на поверхности три вагона. А на крышах их сидели насмерть перепуганные люди и издавали крики, относимые ветром в обратную сторону.

Всего вагонов в поезде было девять...

К несчастным подойти было невозможно.

— Сейчас пришло помощь! — крикнул начальник, что было силы, и поспешил обратно к дрезине.

Но подать помощь было сопряжено с бесконечными трудностями. Начальник сообщил по телефону в городской конечный пункт и обратился к односельчанам с просьбой оказать помощь погибающим — ведь свои-то более или менее умели ходить по болоту. Отец мой тоже говорил с крестьянами и, я думаю, его они послушались больше, чем «чужого» — начальника станции. Храбрые и хладнокровные крестьяне поспешили к болоту...

Всего там было сорок. Спасенные рассказывали, что их было больше, но некоторые, не дождавшись прибытия помощи, попробовали пройти по болоту сами — и погибли на глазах других. В трех вагонах, лежавших в болоте, не оставалось, говорили они, больше никого — всем удалось вылезти из окон. Только одна старушка осталась там — помешалась, бедная, со страха...

Это были три последних вагона поезда. По всей вероятности, они легли на остальные, поэтому и остались наверху.

К вечеру выяснилось, что всего было продано 250 билетов.

А спасены были — сорок...



Какой бы шум подняли теперь газеты — столько жертв. Но в те времена было еще не так. Совсем замолчать, конечно, не удалось — но очень смягчили. Во-первых, говорил по-

койный отец, точные сведения о количестве погибших так никогда и не попали в печать. И обвинили во всем не строителей, не близорукую комиссию — а дождь. Размыло, мол, насыпь. Правда, одного из инженеров-строителей судили. Другой ушел от суда человеческого: как только узнал о катастрофе — пустил себе пулю в лоб. Говорят, сначала предполагали провести линию иначе — вроде, как сейчас: через поля. Но поля принадлежали тогда богатому помещику. Правду или неправду говорили люди о громадной взятке — ведомо одному Господу. Но, опять-таки, процесс умудрились сделать не особенно громким. Не помню, на сколько лет засадили инженера...

Отец мой стал служить ежегодно панихиду около болота. Потом стал служить в церкви. Служу теперь и я... Только уже мало кто помнит и приходит...

Вот видите, там, впереди, здание? Эго и есть наша станция... Так и стоит с тех пор заколоченная... Теперь, говорят, разберут, употребят материал для новой — если еще годится.

В сумерках вырисовалось перед нами какое-то здание, заколоченное, заброшенное. Ванюшка ударил по лошадям.

— Пострадавшие-то все были крестьяне, — продолжал батюшка, — из нашего села — трое, несколько из деревни, где вы живете... из других...

Ну и возненавидели же Аксиныю с той поры:

— Аксинья беду накликала!

А пока лежали еще вагоны на болоте — а лежали они еще дня три — она все бродила около да бормотала. Думали как-нибудь спасти вагоны — не сумели...

Осушить болото — слишком кропотливая и дорогая работа... да пока окончат ее — все вагоны-то там, лежа внизу, попортятся окончательно... так и оставили...

Аксинье с тех пор житья не стало. Один раз бабы — из вашей деревни — идя с поля, встретили ее у болота — так избили до полусмерти... Она, собственно говоря, никому не делала зла... Во всем, что ни случалось в селе или деревне, готовы были винить несчастную. Даже, когда сгорела станция... А сгорела-то она, полагают, от молнии... Да, тяжелая

была жизнь у несчастной...

— И никогда не пробовали больше возобновить дорогу?

— Нет... Были какие-то свои соображения. Много потеряли на этом. А возобновить, осушать болото или строить новую линию — громадные новые расходы...

— А почему, — вспомнил я разговор с Седовым, — крестьяне избегают говорить об этой старой насыпи?

— Суеверие... Каждый крестьянин скажет вам, что время от времени можно видеть поезд. Девять вагонов и паровоз. И всегда перед бедой... Вот, — говорил отец, — крестьяне уверяли, что поезд видели многие перед холерой. Перед большим пожаром, уничтожившим полдеревни... А некоторые видят его перед своими несчастьями.

— А при вас, батюшка, это бывало?

— Да... Говорили крестьяне — перед двумя неурожайными годами. И ничем этого у них из головы не выбьешь...

— А сами вы батюшка, никогда не видели?

По лицу отца Александра промелькнула характерная для него застенчивая улыбка.

— Я же не верю в это, — сказал он.

Мы подъезжали к селу. Я попрощался с батюшкой, напутствуемый его приглашением побывать когда-нибудь в его церкви и у него.

С этого вечера я стал постоянным гостем отца Александра. У него, в церковном домике, было необычайно уютно. Жена его была, если можно так выразиться — сама какая-то воплощенная уютность. Не слишком образованная — вряд ли она окончила больше приходской школы. Но недостаток образования восполнялся у нее природной сметкой, наблюдательностью и чуткостью. Вся обстановка, весь уклон жизни церковного домика были удивительно под стать этим двум симпатичным людям. Дети — двое было их — были в отца. Я стал проводить у батюшки каждую свободную минуту и не заметил совсем, как подошла осень.

Впрочем, надо было немного подготовиться к наступающему семестру, поэтому я не был у батюшки дней десять. Пришел я к нему только за два дня до моего отъезда в Москву.

— Отца Александра нет дома, — встретила меня матушка, — он в городе, на епархиальном съезде. Он должен скоро вернуться... Он там с самого утра.

Я провел в церковном домике весь день до вечера. Пил чай с чудесным вареньем, ел аппетитную булку собственного печения матушки, играл с детишками в домино. В теплой комнатке, где уже топилась печь и горела керосиновая лампа с розовым абажуром, не чувствовалось совсем, что на дворе осень — такая ранняя в этом году — что над болотом тянется густой туман, что дороги непролазны от грязи.

Батюшка приехал часу в девятом. То есть не приехал, а пришел.

— Как же ты пешком, отец Александр? — с ужасом спросила матушка.

— Да я только здесь, в селе... Соловьев довез меня из города, а тут, около болота, сломалась у него ось... Я и пошел... Пошли Федюшу сказать сыну Соловьева, чтобы шел на подмогу... с новой осью... Я обещал ему...

Батюшка кашлял.

— Простудился, — заботливо сказала жена, — продрог, небось... Такая промозглая сырость... Поди, ляг... я подам тебе чай в комнату. А гость посидит с тобой, пока я накормлю детей.

Батюшка послушался.

— Пойдите к нему, — сказала матушка, — он так любит беседовать с вами...



Батюшка лежал уже в постели. Лицо его показалось мне очень бледным. Впрочем, может быть, это от голубого абажура лампы.

— Я измерял температуру — Любушка пристала, — с своей обычной улыбкой сказал отец Александр, — нормальная.

Мне показалось, что батюшка — как ни странно это было — словно недоволен, что температура у него нормальная. Мы поговорили о том, о сем.

— Скажите, может это быть, — внезапно прервал отец Александр наступившее на минуту молчание, — что, пока я ехал, у меня температура была повышена, а теперь — нормальная?

Я посмотрел на батюшку. Глаза его горели каким-то лихорадочным блеском. Он, без сомнения, был нездоров. Повидимому, ему было очень важно, чтобы температура у него была повышенная. Поэтому, чтобы успокоить больного, я сказал как можно равнодушнее:

— Конечно, это бывает... Я слышал, что обычно температура поднимается после шести и двенадцати... А теперь десять.

— Вот-вот, — облегченно закивал головой батюшка.

Он казался чем-то очень озабоченным. И я вспомнил, как мне один раз говорила матушка:

— Удивительно, как мой отец Александр принимает все близко к сердцу. Придет иной раз с исповеди — лица нет на нем, так мучают его чужие грехи.

Разве было что-нибудь неприятное на съезде? Но спрашивать казалось мне неудобным. Отец Александр нарушил молчание первым.

— Вы знаете... я живу с Любушкой вот уже двенадцать лет... Мирно живем, никогда не ссорились. Никогда — слышите — никогда не солгали друг другу... И никогда я не утаил от нее ничего... А вот теперь хочу скрыть — боюсь: испугается... разволнуется... А ей волноваться нельзя: у нас через три месяца будет еще ребеночек.

Я молча кивнул.

— А с кем-нибудь поделиться надо... к вам я так привык... очень привык. Глупо, конечно... а вот беспокоит меня... так и сосет, так и сосет сердце. Конечно, это лихорадка, — пробовал успокоить себя отец Александр. — Я слез с телеги, как

я уже говорил вам, около болота. Думал — чего ждать, пока он справится с осью — холодно... помочь-то я не умею. Вот и сказал ему: «Пойду пешком, здесь недалеко, и пошлю к вам вашего сына с новой осью». Ну вот и пошел. Дорога-то скверная, ну да пройти кое-как можно — по колее идешь. Стемнело. Дождь собирался. А над болотом стоит такой туман — в двух шагах ничего не видно. Иду, смотрю себе под ноги, чтобы в воду не попасть. Оглянулся на болото — так, сам не знаю, почему. Вижу — что-то движется там, в тумане. Большое... длинное. Вгляделся — что это может быть? И вот, совершенно ясно, как сейчас вас вижу, разобрал — поезд!

Да, поезд. Паровоз и девять вагонов.

И всю дорогу стояла у меня перед глазами эта картина.

Я, конечно, постарался уверить батюшку, что у него начинается лихорадка, что в тумане вообще очень легко может что-нибудь померещиться, и поскорей переменял разговор. Но и ночью — ночевал я в церковном доме — мне все время вспоминались батюшкины слова.

Ведь сколько раз — летом еще — возвращаясь от батюшки, старался я представить себе, как это проходит там, по болоту, поезд, пугающий крестьян, останавливался у болота; любопытно, хотел его увидеть. Но болото было пусто и никогда ничего, кроме журавля, цапли или одинокой крестьянской фигуры, уверенно пробирающейся при свете дня по знакомым тропинкам, не видал я на болоте.

И кто же увидел теперь?— Батюшка, который был так чужд всякого суеверия, который не признавал ничего такого.

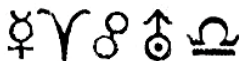
«...Вчера мы и похоронили его... И как это сгорел он так быстро — в какую-нибудь одну неделю...»

Так кончалось письмо, полученное мною от матушки уже в Москве.

И перед моими глазами встал снова церковный домик с его уютной жизнью. Розовый абажур и кипящий самовар

в столовой. Матушкино варенье... славные детишки. Отец Александр с его юношески-чистой застенчивой улыбкой.

И громадное, жуткое болото, стерегущее неразгаданные тайны...



СОНЯ

...Я знал много женщин до и после нее, но ни одной не любил так, как эту девушку с серыми грустными глазами...

Мне было тогда восемнадцать лет, ей — двадцать семь... Вы улыбаетесь? Не улыбайтесь.

Я познакомился с ней на даче, в доме хороших знакомых. Я ухаживал за хозяйкой дома, но сегодня она занялась приезжим офицером, и, с досады, я завел разговор с Соней. Раньше я не обращал на нее внимания, как и многие другие. Она была красива, но красота ее была какая-то скромная, так что многие проходили мимо нее, не замечая.

Она была хороша, как ясный сентябрьский день, когда еще ничто, кроме грустной бледности неба и скользящих в листве золотых бликов, не напоминает о приближающемся осеннем ненастье. Мы сошлись с ней, как сближаются люди на даче, где есть парк с укромными уголками, густой лес, поля с протекающей по ним речкой.

Она была учительницей музыки. Уроки отнимали у нее весь день, и только по вечерам бывала она свободна. Два раза в неделю ездила она в имение барона Р., в пяти верстах. Если погода была хорошая, она шла пешком, а я провожал ее.

Скучна была Сониная жизнь. Безрадостное детство у злой и капризной мачехи. С восемнадцати лет — гувернантка, воспитательница чужих детей. Потом — увлечение молодым, легкомысленным графчиком, который не успел соблазнить ее только потому, что во время вмешалась старая графиня-мать.

Чужие, капризные дети. Незаслуженные обиды и унижения. И никаких, никаких радостей... За десять почти лет этой жизни удалось скопить немного денег.

Купила рояль. Теперь она могла давать уроки и на дому. Могла заниматься музыкой, развивать свои недюжинные способности. И рояль стал единственной радостью, единственным другом ее серенькой жизни.

Так проходила молодость, увядала красота, не замечае-

мая никем, не нужная никому. После первой, неудачной любви, Сонечка не увлекалась больше никем и покорно готовилась нести безрадостный крест старой девы...

Я был в то время пустым развратным мальчишкой. Сын богатых родителей, я познал все тайны жизни чуть ли не с четырнадцати лет. Вел ту пустую жизнь, которую вели все мои товарищи — наша «золотая молодежь»...

Но бывали у меня минуты — особенно началось это в последний год, — когда на меня нападала тоска и глубокое отвращение к жизни, которую я вел. Тогда — весной бывало это — убегал я куда-нибудь в лес и погружался в бездумное созерцание природы. Меня успокаивал шум леса, журчание ручейка. И тогда в душе — где-то в самой глубине — мелькали какие-то еле осязаемые мечты о красивой и чистой любви, не похожей на мутные увлечения, наполнявшие мою жизнь...

Вся любовь моя к Соне была такой светлой мечтой!

За что могла эта серьезная девушка полюбить меня, развратного и наглого мальчишку? Может быть, она угадывала, под внешней оболочкой, мою душу, любившую все красивое и возвышенное.

Были ясные вечера, полные закатного света. Были звездные ночи в парке. Были прогулки в далекие леса, синевшие на горизонте. Мы оба любили природу и умели пользоваться тем, что дает нам лес, лето, река... Один вечер остался в памяти моей незабвенным, как прекрасная сказка, что рассказывает горячо любимая мать. Мы сидели на крутом берегу реки, под навесом ивовых ветвей. У ног наших бежала река, а в ней догорал розовый закат. И был такой простор, такая чудесная даль... Мы сидели, слушая вечерние звуки. И внезапно я заметил в ее глазах слезы.

— Сонечка, что с тобой?

— Ты разлюбишь меня... а я так тебя люблю.

Я отвечал, конечно, пылкими клятвами. Она покачала

грустно головой.

— Ведь ты не знаешь — мне двадцать семь лет... я скоро состарюсь...

— Для меня безразличны твои годы. Я люблю тебя, люблю!

Я стал покрывать страстными поцелуями ее руки, шепча, что для меня ее годы безразличны, что я буду ее любить всегда, всегда...

Мы долго сидели у заснувшей реки. Над головами нашими зажглись уже первые звезды. Мы были одни. Никого, казалось, не было больше в целом мире. Мы были одни — но я не смел оскорбить ее слишком бурными ласками. Поймите, мне казалось это именно оскорблением для этой девушки — такой серьезной, строгой и бесконечно чистой...

Однажды Соня предложила мне идти к старой мельнице, у которой не была с самого детства. Но целую неделю стояла дождливая погода и мы никак не могли собраться в эту прогулку. До мельницы было верст восемь. Наконец, когда наступил ясный день, мы решили идти с ней непременно. Я должен был встретить Соню после урока. Но я пришел в условленное место немного рано. Сел в тени и задремал. И во сне снилось мне, что Соня подошла ко мне и, наклонившись, прошептала:

— Милый, не пойдем туда!

Я проснулся оттого, что меня поцеловали. Наклонившись надо мной, стояла веселая, улыбающаяся Соня. И я сейчас же забыл свой сон. Мы пошли по заросшей лесной дороге. Она все суживалась и ели по обе стороны ее становились все выше.

— Скоро тут тропинка. Я, конечно, дороги не помню, но я спросила в имении. Я была там, когда мне было лет десять... Это — жуткое место и про него рассказывают так много страшного...

— Расскажи.

— Нет, когда придем.

Мы оба вздрогнули: перед нами, как из-под земли, выросла странная фигура. Худая, изможденная, с костлявыми руками, напоминавшими грабли, седыми космами волос, — она производила впечатление какой-то средневековой ведьмы.

— Тебе хочется смерти? — прохрипела она, взглядывая на Соню. — Что же, иди, она ждет тебя, иди! Зачем ведешь ее в проклятое место? — строго обратилась она ко мне. — Оттуда ведь нет выхода, нет!

И, засмеявшись каким-то жутким смехом, она скрылась в кустах.

Я взглянул с беспокойством на Соню. Она была очень бледна. Но, пересилив себя, сказала:

— Это сумасшедшая... Я встречала ее в имении... Ее иногда кормят там, на кухне... Она помешалась с тех пор, как ушел в лес собирать грибы ее мальчик — и больше не вернулся... Ведь ты знаешь — там дальше — болото... бездонное. Раньше там было большое озеро... теперь большая часть его заросла и превратилась в болото. Уже много, много лет бродит она так, по лесу — все ищет сына... Она никому не делает зла... Только вот так, иногда, путает...

— Ты боишься, может быть, идти дальше?

— Что за пустяки! — засмеялась немного искусственно Соня. — Решили идти — значит, и пойдем!... Я еще не собираюсь умирать — напрасно пугает старуха!

Она опять засмеялась. И мне стало от ее смеха почему то более жутко, чем от смеха старухи.

Дорога разветвлялась.

— Вот этого места я что-то не помню... Мне ничего тоже не говорили, что дорога разветвляется. Три дороги... Как в сказке: направо пойдешь — конь пропадет, налево пойдешь — сам пропадешь... а прямо пойдешь — и сам пропадешь, и конь пропадет... А нам идти, кажется, все-таки прямо... Ну да, конечно... вот два дуба, о которых говорили мне... и я их помню: ведь дубы у нас редки...

— Сам пропадешь и конь пропадет!

Дорога превратилась в тропинку. Кое-где было сыро. Взяли ноги. Наконец, перед нами блеснуло, в бледном свете пасмурных сумерек, заросшее камышами озеро. На болотистом его берегу стояла обгорелая и поросшая мхом развалина. Еще сохранилась забитая давно сгнившими досками дверь, окно с выбитым стеклом и часть крыльца. Кругом стояли, как строгие часовые, сосны и ели. Орешник прижался к стенам, а сквозь крышу проросла белая, кривая березка. Что-то мрачное было в этой картине. Странные деревья, росшие на том берегу, придававшие всей картине какой-то экзотический вид, напомнили мне почему-то сумасшедшую старуху, встреченную нами в лесу. Она очень подошла бы к этому фону.

Мы сели на пороге и Соня стала рассказывать мне разные страшные легенды о мельнице.

Резкий, протяжный крик раздался в лесу и замер над сонным озером.

— Мне жутко, — прошептала Соня, прижимаясь ко мне.

— Стыдно, Соня... Это же кричал сыч... Неужели ты веришь всем этим сказкам? Мертвые — если бы даже они и бродили здесь — не делают никому зла.

— Не знаю... не знаю... мне жутко...

— Ведь ты же не одна — я с тобой!

— Не знаю... Мне жутко... жутко...

Я притянул ее к себе. Целовал ее руки, шейку... Не помню, как расстегнул ее платье и прижался жадными губами к ее груди.

В лесу стало как-то сразу темно. Тучи надвинулись на сосны, и воды стали сразу такими черными, черными. Сосны сзади нас сдвинули как будто свои ряды и стали шептаться... шептаться... укоризненно... настойчиво...

Еле слышно плескалась вода.

Наши ласки становились все горячее... горячее...

Соня была права в своем мрачном предчувствии.

Я не помню хорошо, что было в эту ночь. Знаю только, что она плакала и говорила «нет». А я гасил ее сопротивление своими поцелуями...

А когда первые лучи рассвета проникли в лес, Соня ле-

жала на мокрой траве и рыдала. Судорожно вздрагивали ее нагие плечи. Ее волосы разметались по влажной траве...

Потом вскочила и пошла. Как пьяная, пробиравась она между ветвями орешника, застегивая на ходу блузку. Я пошел за ней. Она стояла над самой водой, держась одной только рукой за ветку и с безумным выражением смотрела на воду.

— Соня, — прошептал я, — ты хотела уйти — и одна!

— Уйди! — крикнула она. — Ненавижу тебя!

Я бросился на траву и зарыдал...

Помню, как сквозь сон, что она опустилась на траву рядом со мной, стала утешать меня, как ребенка. Я шептал, что я — мерзавец и подлец, что я втоптал в грязь нашу любовь, что она не смеет, не должна любить такого негодяя... А она шептала какие-то волшебные слова и целовала мои волосы...

Как странны все-таки женщины...

В тот же вечер я получил телеграмму, призывавшую меня в Лондон. Там много лет уже проживал мой дядя — брат моей покойной матери, и я был его единственным наследником. Его смерть открывала мне дорогу к богатству и независимости. Пока я ведь все-таки зависел от своего отца... Я решил ехать сегодня же — надо же было, ради приличия, поспешить на похороны. Дяди своего я не помнил совсем — я видел его только в детстве, поэтому смерть его не могла меня опечалить. Я пошел к Соне. Я никогда не бывал у нее во избежание сплетен. И в этот вечер пробыл у нее не более часа. Но я до сих пор вижу эту дачную комнатку, освещенную тусклой лампой, и черную фигурку у окна.

— Сонечка — я уезжаю сегодня вечером.

— Куда?

— В Лондон. Дядя умер. Помнишь, ведь я рассказывал тебе о нем? Дядя, который оставил мне такое большое наследство.

Она молчала.

— Соня, прости меня... я подлец... я бесконечно виноват перед тобой... но я заглажу свою вину... Соня, прости меня!

Она провела рукой по моим волосам.

— Соня... ты еще любишь меня?

— Люблю...

— Ведь я уезжаю ненадолго. Самое большее — на месяц.

И, когда я вернусь, мы повенчаемся. Да?

Грустная улыбка скользнула по ее лицу.

— Тебе восемнадцать лет, а я—старуха.

— Перестань, Соня! Какие твои годы! Да они мне и безразличны! Ты всегда останешься для меня моей красавицей Соней! Так через месяц повенчаемся, Соня?

— Повенчаемся, — монотонно ответила она.

— Моя невеста! — воскликнул я, заключая ее в объятия.

Она прильнула ко мне с незнакомой мне в ней страстью.

И, опьяненный ее близостью, я прошептал:

— Моя жена!

Она отдавала мне мои страстные поцелуи. Мы забылись...

Пробило десять часов.

— Я должен идти! — спохватился я.

— Уже?

О, как бы хотелось мне продлить еще свидание — но поезд в город уходил в половину одиннадцатого; пароход — завтра в десять утра. Я еще раз обнял Соню, бесконечен был наш последний поцелуй. Потом она вырвалась от меня и прошептала:

— Прощай!

— Не «прощай», а «до свиданья»! До скорого!

На глазах ее были слезы.

— Сонечка, не плачь! Ведь мы расстаемся ненадолго. А когда встретимся, то не расстанемся уже никогда! Слышишь: никогда!

Я пошел к двери. Оглянулся. Увидел низкую комнатку. Тусклую лампу. Большие заплаканные глаза.

Потом дверь за мной закрылась.

Погода все время была бурная. Я не страдаю морской болезнью, — но это свинцовое море, пронзительные крики чаек, белое тусклое небо нагоняли на меня какую-то тоску. Я плохо спал. Пароход то поднимало, то швыряло в какую-то бездну. Я ежеминутно просыпался и видел тяжелые сны. Проснулся я от какого-то неопределенного тоскливого чувства. Я не мог больше заснуть. Оделся и вышел в коридор. Длинный коридор между каютами. Горело электричество, только в дальнем конце было темно. Но откуда-то падал уже туда слабый луч серого рассвета.

Там я увидел ее. Соня шла мне навстречу с распущенными волосами, как тогда, в лесу, и говорила — устами и глазами:

— Прощай!

Я простер к ней руки — но схватил только пустую тьму коридора.

Со странным чувством вышел я на палубу. Над морем чуть брезжил серый рассвет. Туман, белый и густой, полз кругом парохода.

Снедаемый беспокойством, бродил я весь день. Прибыв в Лондон, я немедленно дал телеграмму. Но она пришла назад, а вместе с ней — письмо от Сони.

Милый, бесконечно дорогой!

Прощай...

Я поняла, что мы должны расстаться... подумай о разнице наших лет. Ты еще юноша. Ты только начинаешь жить. А я — хотя я и не видела еще почти ничего — моя жизнь прожита... Я еще молода, но скоро отцвету... Я люблю Тебя больше жизни, я не перенесу, если Ты разлюбишь меня... А это, рано или поздно, должно было бы случиться — ведь Ты еще так молод!

Поэтому я лучше умру... Я хочу остаться в Твоих воспоминаниях молодой и красивой... Не тоскуй обо мне — это лучше для нас обоих...

Я кончила. На улице темно. Ветер. Но дождя нет. Запечатала письмо и пойду. Пойду туда, где испытала я —

*позор, страх и все счастье земной горячей любви! Я до-
рогу найду... Ближе рассвет. Его лучи застанут меня
уже там, у озера...*

*И пусть волны его смоят мою тоску... Но любовь
мою им не загасить!*

Прощай, прощай!

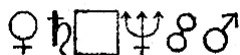
Твоя невеста Соня.

Волны Старого озера глубоки и никогда не отдают своих
жертв... Сонино тело не нашли никогда...

Никогда больше не был я в том проклятом месте...

....Много женщин знал я в своей неудачной жизни. Я
целовал много глазок — синих, черных и карих. Не с одних
нежных уст слышал я манящее «люблю»... Но ни одну боль-
ше не называл я своей невестой.

И никого не любил так, как эту девушку с серыми гру-
стными глазами.



КАРМА

Самовар был выпит. Доктор, перевернув свой стакан вверх доньшком, сказал уныло:

— *Finita la comedia!*

Сестры улыбнулись. Доктор выпил не менее десяти стаканов, но мог бы выпить еще столько же, если бы в самоваре хватило воды. Старый холостяк, не имевший в городе ни родных, ни знакомых, он приходил к сестрам каждый вечер. Никто его не звал, не приглашал, но все привыкли к нему и если бы он не пришел — стали бы скучать. Как скучают по какому-нибудь уютному дивану, который десять лет стоял на одном и том же месте и который кто то вдруг убрал.

Доктор считал своей обязанностью «занимать» хозяек, что выражалось в том, что он дразнил ту или иную сестру. За полгода совместной работы он до мелочей изучил слабые струнки своих помощниц. В особенности доставалось от него, закоренелого атеиста, старушке Анне Михайловне, прозванной другими сестрами «матушкой-игуменьей» за свою любовь к иконам, которых она возила с собой целый ящичек. Но сегодня, первый, кажется, раз за все время, доктор и «матушка» нашли почву для соглашения: разговор шел о разгроме церкви в уезде. Злоумышленники унесли не только драгоценности, но разбили стекла, растоптали иконы и осквернили престол.

«Матушка» говорила об этом со слезами на глазах, доктор тоже находил этот случай возмутительным. Но и тут «матушка» нечаянно бросила яблоко раздора: она утверждала, что святотатство не пройдет безнаказанным и что каждый из кощунствовавших злоумышленников получит свое... Доктор отрицал всякое возмездие.

— Анна Михайловна, — говорил он, — ведь осквернение церковей стало за время войны обычным, хотя и очень печальным, явлением. В этих кощунствах, как вы их называете, принимают участие десятки, сотни людей. Неужели вы думаете, что каждая отдельная единица из этой массы

поплатится за свой поступок?

— Да, уверена. Бог поруган не бывает... Только иногда наказание следует сразу, а иногда Бог терпит — ждет раскаяния грешника...

— Сентенция из душеспасительной книги, — сказал доктор.

— Но согласитесь, доктор, что бывают странные случаи, которые нельзя объяснить простым совпадением, — сказала новая сестра, приехавшая только три дня назад, — я сама испытала...

— А ну, расскажите, — сказал доктор, усаживаясь уютнее на диван.

— Это было совсем недавно, — начала, немного смущаясь, сестра, — я работала тогда в 201 госпитале. Жили в общежитии — просторной комнате с выбеленными стенами и электричеством. Нас было три: сестры Розен, Круминь и я. С Круминь, латышкой по национальности, мы были очень дружны. Розен была нам обеим несимпатична. Особенно неприятной стала она с тех пор, как вышла замуж...

Из палаты нашей была дверь в церковь, постоянно, впрочем, запертая — вход был с лестницы. Церковь была убогая: просторная белая комната с малочисленными иконами и походным иконостасом. У нас служили там каждую субботу и воскресенье. Я очень любила эти службы. Бывало, уйдут вечером сестры, я стану на колени за дверью — и молюсь. И одна я в комнате, никто не мешает, и каждое слово службы слышно... так хорошо.

Летом дали мне двухнедельный отпуск, но я вернулась днем раньше. Сестер не было дома. В комнате было неприятно, неуютно, сыро. На дворе третий день шел дождь.

Была суббота. Но летом в церкви не служили. Мне захотелось все-таки войти в церковь, помолиться в вечернем сумраке, так располагающем к молитве.

Открыла дверь — и ахнула: мерзость запустения, пыль, паутина, и, в довершение всего — от иконостаса к западной стене протянута веревка, а на ней развешано белье. Обидно стало до слез.

Я дернула с сердцем за веревку, она оборвалась, и дамское белье полетело на пол... Я подобрала его и выбросила в нашу палату. Потом взяла полотенце и стала вытирать пыль... За этим занятием и застала меня сестра Круминь.

— Это вы устроили сюрприз Розен? — улыбнулась она и серьезно прибавила: — Вы знаете, я лютеранка, но меня коробило, что она превратила церковь вашу в какой-то склад. Она держала там всю грязную посуду, если ей лень было мыть после обеда, а в алтаре — свои припасы. Там, говорит, холодно, не портятся...

Представьте себе, Розен сочла себя оскорбленной, и целую неделю не говорила со мной... Мне это было неприятно: ну как жить в одной комнате с человеком, который на тебя дуется? Круминь скоро уехала и мы остались вдвоем. Общество Розен было мне несимпатично, особенно, когда приезжал к ней муж, что случалось раза два в неделю. Когда в комнату вваливался этот краснолицый бородатый мужчина, Розен сходила с ума. Начинала бегать, выпрашивала посуду, варила и жарила часа два. Кормила мужа до отвала, поминутно прикладываясь к его лоснящейся лысине. После еды они или уходили в кинематограф или он разваливался отдыхать на ее постели, а она ходила на цыпочках, гневно смотря на каждого, кто осмелился произнести громкое слово...

Мне была противна эта пара: его грубая, самодовольная манера обращаться с женой — и ее рабское поклонение...

Доктор Розен был невероятно груб; при старом строе не брезгал кулачной расправой, да и после революции не считал нужным скрывать проявления своего темперамента.

Однажды, в свободный вечер, я засиделась у знакомых до двенадцати. Подойдя к лазарету, удивилась, увидев в окне свет: Розен обычно ложилась в девять, а то и в восемь...

Сестра сидела на кровати с каким-то испуганным лицом

и, видимо, ждала меня.

— В чем дело?

— Я испугалась чего-то во сне...

Я ясно видела, что Розен врет, но не стала спрашивать. Мы сказали друг другу несколько незначительных фраз. Мое присутствие, видимо, успокоило ее. Я стала раздеваться. Кто-то тихо постучал в дверь.

— Кто это может быть так поздно? Неужели ваш муж?

Я накинула платок, чтобы пойти к двери, потому что Розен уже лежала.

Широко распахнула дверь, потому что на мое «войдите» не отозвался никто. За дверью был ярко освещенный пустой коридор.

«Почудилось», — решила я и легла.

Стук повторился.

— Ну, что такое? — сказала я и вдруг уловила взгляд Розен, направленный на церковную дверь. Теперь и мне почудилось, что стучали именно оттуда. Я живо представила себе, что там, за дверью — пустая темная комната, запертая со всех сторон, где нет никого и быть не может... И, сознаюсь, мне стало жутко...

Мы долго еще сидели в постелях и косились в ожидании на дверь. Но стука больше не было...

Утром ночные страхи показались нам смешными. Я отперла дверь в церковь, дошла до другой двери, пощупала ее замок, и вернувшись, заперла нашу, повернув два раза ключ. И оставила его невынутым. Мало того: мы придвинули к двери стол. Усталые от прошлой бессонной ночи, мы легли рано и я сразу же заснула. Проснувшись я от страшного крика. Сердце мое, как у всех, внезапно разбуженных, очень забилося, в глазах запрыгали искры. Прошло минуты две, прежде чем я пришла в себя. Я видела только что-то белое на полу. Я зажгла свет. На полу, недалеко от моей постели, лежала в глубоком обмороке Розен.

— Я долго не могла заснуть, — рассказывала она, когда я привела ее в себя, — и все думала о вчерашнем вечере. И снова слышала стук. Я хотела разбудить вас — жутко было — звала, но вы спали так крепко. Тогда я встала, чтобы подойти к вам и разбудить... И вдруг вижу: дверь в церковь открыта. Ведь двери белые, как и стены, а там было черное пятно. И на фоне черного пятна появилась какая-то светлая фигура — словно отец Роман... Больше я не помню ничего...

Не показывая виду Розен, что мне тоже очень жутко, я предложила ей открыть дверь в церковь и посмотреть, что там такое. Дотронулась до двери — она не была заперта. А ведь я заперла ее сама сегодня утром, да еще два раза повернула ключ в замке! У меня хватило даже смелости протянуть руку в черную темноту, и, нащупав там выключатель, осветить церковь. Она была пуста, и на пыльном полу никаких следов не было...

— Ну вот, видите... Все игра ваших нервов. Вы в последнее время вообще чем то расстроены, нервничаете...

— Я беременна, — сказала тихо Розен.

— Ну, вот видите... Так вам тем более вредно волноваться... Возьмите себя в руки... А то я пожалуйюсь доктору, вашему мужу, — пошутила я.

— Но стук?

— Может быть, проезжает мимо автомобиль, мотоцикл — вот и трясется дверь... Очень просто.

Прошло дня два. Стука мы больше не слышали. Я начала забывать обо всей этой истории, тем более, что работы было очень много. Привезли новую партию раненых. Фронт продвинулся близко к нам... Ожидали со дня на день эвакуации лазарета. Муж Розен не показывался — видимо, и он был очень занят.

Доктор приехал только в воскресенье, и, видимо, неожиданно для жены. Она сразу повеселела. Началась обычная стряпня и возня. Уселась к столу. Запах жареного гуся щекотал мне нос. Я села с работой в сторонке. Доктор только что с противным плотоядным выражением положил себе в тарелку целую гору кусков, когда Розен быстро обернулась в сторону церкви и прислушалась. Я тоже слышала

там ясно тяжелые шаги. Доктор заметил наши взгляды и сказал:

— Это убирают иконы. Вы же знаете, что получен приказ свертываться.

Ну, конечно, как мы об этом забыли...

За дверьми шумели и галдели солдаты, недовольные тем, что их заставили работать в воскресенье.

— Ишь, разошлись, — сказал доктор и направился к двери.

— Куда ты — гусь остынет! — остановила его жена.

— Сейчас, только порядок наведу.

И он пошел в церковь. Его хриплый бас покрыл скоро все остальные голоса.

— Да не так, идола, — орал он, — сначала с верхнего крюка снять надо — да шевелитесь же, собачьи дети!..

— Так кричать в церкви! — возмутилась я, когда доктор без стеснения помянул чью-то мать, и стала быстро надевать куртку, чтобы уйти и не наговорить доктору дерзостей.

«Скорее уйти, в лазарет, на лестницу, на улицу, — куда угодно...»

И вдруг — оглушительный треск... крики... страшный, мучительный стон... И потом — жуткая тишина... Я была уже в дверях. Когда я добежала до церкви, я увидела картину, которую не забуду, кажется, никогда. Солдаты с мрачными лицами жались к стенам — в полном безмолвии. А на полу — окровавленное тело доктора, раздавленного сорвавшейся со стены тяжелой иконой Александра Невского... Розен билась в истерике у трупa мужа...

— Ну, и что вы хотите сказать вашим рассказом, сестрица? — спросил доктор.

— Конечно, вас не переубедишь, — вздохнула Анна Михайловна и стала убирать со стола... Остальные сестры молчали...



ОН ОБЕЩАЛ ПРИЙТИ!

Яркие летние звезды смотрели с бархатных небес, любопытно стараясь взглянуть в чуткую тьму черного сада, но с ревнивым шепотом оберегали его тайны стройные клены. И только трепетным осинам, дрожавшим за свою смелость, удалось подслушать тихие речи, доносившиеся с осененной их ветвями старой садовой скамейки.

Те двое, что сидели в тени, говорили о том, что вечно, о начале всего живущего — о любви.

Над головой их сияли золотые звезды. У ног блестела серебристая роса. Они говорили о том, что любовь их так же вечна, как золотые звезды над их головой...

Тихим осенним вечером пришли они на кладбище. Грустно шумели пурпурно-медными листьями клены. С печальным шелестом роняли сухие листья березы. Яркие лиловые и красные астры уныло качали своими кудрявыми головками. А на могилах увядали желтые и алые настурции... И с немым красноречием уходили в небо белые кресты, символы того, что вечно...

— Отчего ты грустна, дорогая?

— Я подумала, что могла бы потерять тебя, и ты лежал бы здесь, под этой холодной землею...

Он ответил не сразу, глядя куда-то поверх обнаженных берез, потом наклонился к ней, и, глядя в грустные глаза, произнес:

— Верь тому, что написано на крестах: «Любовь сильнее смерти...» Если бы я и умер — душа моя останется с тобой... Я буду приходить к тебе, и ты будешь чувствовать мое присутствие...

Торжественным обещанием прозвучали в холодном воздухе его последние слова. И ветер понес их по могилам...

Ярко светило в разноцветные стекла церковных окон январское солнце, когда выходили они из Божьего храма мужем и женой. Белый снег искрился в вечерних лучах. Звучали бубенчики. Мчались мимо сани. Мороз одевал румянцем бледные лица горожан. С катков доносилась музыка. Чем-то праздничным веяло в зимнем воздухе.

Вечером было много гостей. Поздравляли. Говорили речи. Пенилось вино. Играла музыка.

Но им казалось, что они — одни во всем мире, и они читали друг у друга в глазах одно:

— Неразлучны, навеки неразлучны...

Июльский день томил своим удушливым зноем. Как перед грозой, тяжело дышала земля. Как перед грозой, лежала тяжесть на человеческих душах.

И вот — грянул гром, и раскатился мощным эхо по всей Русской Земле, докатясь даже до самых дальних и глухих окраин.

С серьезным лицом, с горящими глазами, вернулся он домой, размахивая исторической телеграммой.

— И ты идешь? — тихо спросила она.

— Да, я призван...

Сжалось слабое женское сердце, предчувствуя большое и неотвратимое горе.

А за окном звучали радостные клики, гремело победное «Боже Царя храни» и:

— Да здравствует война!

Это шли те, кому были уже готовы могилы на дальних боевых полях..

Под свист пуль, гром орудий и стоны раненых убегали длинные летние дни на далеких, чуждых полях. лето сме-

нилось осенью. На полях колосилась неубранная никем золотая, полная рожь. Среди зелени садов сверкали румяные яблоки, сочные сливы и груши... По ночам спускался белый туман над болотами и руслами рек...

А они все шли, шли, шли...

Многие оставались на полях — но на смену им катились новые потоки, и снова шли, шли...

Однообразно, безвременно тянутся дни в громадных белых залах. Здесь находят временный покой, кто оросил уже поля своей страдальческой кровью. Неслышной поступью ходят между кроватями сестры, творя незаметно свое великое дело — дело любви и милосердия...

И она среди них — хрупкая, нежная блондинка, с детски ясными, грустными глазами. Радостно и спокойно несет она свои трудные обязанности, и думает — думает о том, кто там, на бранном поле...

Он — там, она — здесь...

И оба служат одному и тому же делу...

Красные закатные лучи освещали комнату, когда прочла она то ужасное, непонятное, дикое, чего так боялась все эти долгие месяцы: его имя в списке убитых...

В списке убитых... Зачем? Как? Почему?

Солнце лило в окно свои пурпурные лучи, отражавшиеся в ее слезах...

И молчало... молчало...

Поздно пришла весна. Поздно стали солнечные лучи, дол-

го скрытые тучами, согреть усталую землю и растапливать сине-желтые речные льды.

Но, когда наступили лучезарные дни и солнце заглянуло и в палату — раненые стали поворачивать свои бледные лица к окну и говорили:

— Сестрица... Весна пришла... Нашим, небось, полегчает...

И бледная сестра в черном платье улыбалась им одними глазами и читала бесстрастным голосом вести с войны.

А сама думала:

«Когда же? Когда придет он? Ведь он же обещал...»

А доктор, заботливо вглядываясь в лихорадочно блестящие глаза сестры и ее впалые щеки, говорил:

— Вы переутомились, сестра... Вам надо отдохнуть... надо отдохнуть...

И вот неслышными шагами подкрался Великий Праздник. Удивилась земля, не успевшая сбросить своей снежной пелены. Удивилась река, все еще скованная льдом. Удивилось и само золотое солнце, и спрятаło за облаками свои золотые лучи.

— Наступает праздник любви и мира, великий праздник Воскресения, — а на земле все еще не прекратились раздоры, все еще льется и льется кровь...

Грустным призывом звучал пасхальный перезвон в эту Пасхальную — но не по-пасхальному холодную ночь.

Целый день работала в лазарете сестра, а вечером нашла еще в себе силы пойти к заутрени.

Страшно усталая, вернулась она домой. Еще было темно, но светлела призрачным светом полоска на востоке. В соборе звонили еще колокола. За окном скрипела вывеска. В квартире была мертвая тишина — как всегда теперь после его смерти. Сестра легла, но не могла, несмотря на усталость, заснуть и тупо вглядывалась в черную пустоту спальни. Звонили в соборе колокола, а в ушах все еще звучало:

— Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...

— Смертию смерть...

Нет, не побеждена смерть, нет, властно еще над человеком ее черное цепкое жало...

— Он не может прийти!..

Резкий телефонный звонок нарушил тишину.

— Из лазарета... Ах неужели даже этой ночью не будет покоя...

Она взяла трубку.

— Христос воскресе, дорогая, — прозвучало тихо, как шелест весеннего ветерка.

— Ты, милый...

Горячие слезы неожиданным потоком хлынули из ее усталых глаз.

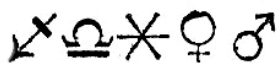
— Но мне сказали, что ты умер... Но почему говоришь по телефону, а не пришел сам?

— Я слишком далеко, дорогая... Прийти я не могу...

— Милый! Милый! Ты не умер! Ты жив!

— Не говори о смерти сегодня. Сегодня праздник живых. Сегодня нет мертвых. Все живы, все. Сегодня все, от человека до прозябшей былинки, славят воскресшего Христа. Но не печалься в эту великую ночь Воскресенья... Ты видишь: неразлучны мы с тобой, ибо любовь наша сильнее времени и пространства, сильнее разлуки и смерти — ибо любовь наша вечна и бессмертна...

Мы неразлучны — помни это: неразлучны!..



НАШ АРХИМЕД

Утром под Новый Год буря утихла, но зато пошел липкий, противный снег. Он забирался за воротник и в рукава, стекал, растаивая, по лицу, слепил глаза.

«Метеор» шел из Лондона в Ригу. Переход небольшой, но зимой не из приятных. Мы, подвахтенные, второй механик и я — второй помощник капитана — кончили обедать. Я хотел взглянуть на большие часы, висевшие за моей спиной — надо же было знать, сколько минут осталось еще до начала вахты. Архимед встал, тщательно сложил свою салфетку, сунул ее в кольцо и медленно, молча, как делал все, вышел из салона. Теперь я мог и не смотреть на часы: Архимед, как хронометр, всегда отправлялся на вахту ровно без десяти.

Архимед... Кто, когда впервые окрестил так нашего второго механика Иванова, — не знаю, но все так привыкли к этому прозвищу, что никому не приходило в голову называть его как-нибудь иначе, ну, по имени-отчеству. Да мы, по правде сказать, и не знали, как его зовут. То есть, за необходимостью, позабыли.

Архимед всегда был молчалив. И только тогда нарушал свой обет молчания, когда дело касалось математики. Этот бледный, невзрачный человек был пророком, апостолом своей любимой науки. Она заменяла ему религию, все человеческие привязанности, семью, любимую женщину. Вне математики для него не существовало, кажется, в мире ничего.

Нужда эмигрантской доли загнала этого умного и талантливое человека в пароходные механики, но по призванию это был кабинетный ученый. Каждую свободную минуту он посвящал чтению математических книг, которых в его каюте было очень много, вычислениям и чертежам. Он не расставался со своими тетрадями даже на вахте. Казалось, он боялся, что кто-нибудь унесет в его отсутствие из его каюты и прочтет эти драгоценные листки. Сколько мы могли понять из его разговоров мы, не математики, знав-

шие эту науку постольку, поскольку она была нам необходима для морских вычислений, — Архимед строил какую-то свою систему, которая должна была создать целую революцию в математике. Мы слушали его со снисходительной усмешкой. Что же, в конце концов, конек имеется почти у каждого человека. Ну а работник и товарищ Архимед был отличный.

Я вышел вслед за Архимедом. Он шел впереди меня. Проходя по обледенелой палубе, он споткнулся. Смешно размахнул руками, чтобы удержать равновесие. Какие-то бумажки выскользнули у него из рук. И ветер понес их, играя, в воду...

— Мои чертежи!

Никогда ее забуду я дикого крика, который пронесся над палубой. Крик, стон человека, у которого отняли все. Обезумевши, он рванулся к борту, словно хотел поймать улетавшие чертежи, броситься за ними в воду.

Зашатался и упал с новым стоном.

Мы подбежали к нему, лежавшему неподвижно на обледенелой палубе. Поспешил, застегивая на ходу пальто, и наш судовой врач Озоль. Наклонился над распростертым телом, которое злобно засыпали снежные хлопья, и сказал, равнодушно пожимая плечами:

— Разрыв сердца...

И через пять минут весь «Метеор» уже знал, что бедный Архимед решил все свои жизненные проблемы...

Грустно встречали мы на этот раз Новый Год, и без того невеселый в море. Подвахтенные сели ужинать в обычное время, но сегодня не радовали дозволенные в этот вечер вина. Разговор не клеился. Воображение рисовало кар-

тины того, что осталось на берегу. Вспоминались близкие... родные... дом, может быть, зажженная в последний раз елка.

Капитан наполнил стаканы:

— С Новым Годом, господа!

Но это «с Новым Годом» прозвучало так же грустно, как плач морских волн за бортами «Метеора».

Мы пили немного. Настроение слегка поднялось, но в душе оставался все же мутный осадок. Никак нельзя было отделаться от мысли, что в своей койке, в темной каюте, лежит неподвижный и до ужаса серьезный Архимед, решивший все свои проблемы. И что-то невыносимо жуткое было в этой мысли.

Я посмотрел на часы. Было без десяти минут двенадцать. Будь еще жив Архимед, он поднялся бы с своего стула, аккуратно сложил бы салфетку и направился к дверям. Десять минут... Сейчас наверх, сменять продрогших товарищей...

Глухо шумело море, ударяясь о борта. Свистел налетающий порывами ветер. Кто-то взялся снаружи за ручку двери... Мы замолчали, повернулись лицом к этой красной двери и ждали. Чего-то, неведомого и жуткого... И знали: это неминуемо.

Словно от порыва ветра, распахнулась одностворчатая дверь. На пороге стоял Архимед. Спокойный, торжественный. А в глазах его догорали какие-то огоньки... Искры — которые зажигались в них в моменты страстной проповеди его религии — Математики...

Мы все оцепенели. Только доктор вскочил со своего стула. Кажется, он пробормотал:

— Я не мог, не мог ошибиться!

С каким-то невероятным облегчением бросился я, как только пробило двенадцать и просвистали вахту, к себе на мостик, видя еще, как исчезла в освещенном прямоугольнике двери машинного отделения слегка сутулая фигура Архимеда. И всю вахту, ходя взад и вперед по мостику и зорко вглядываясь в темную даль ночного моря, где не мелькало ни единого огонька, я невольно думал об Архимеде.

Вот, стоит мне дать звонок и я сейчас услышу его отчетливое, слегка протяжное: «Есть!»

А рядом с этим образом вставал другой Архимед: бледный, безмолвный, распростертый на палубе — и наклонившийся над ним доктор со своим лаконически-равнодушным:

— Разрыв сердца!

Озоль бегал по палубе, уходил к себе в каюту, снова выскакивал из нее. С гипнотической силой тянуло его к иллюминатору машинного отделения, откуда было видно, как стоит внизу, около своих машин, бесстрастный, как всегда, Архимед.

Смотрел вниз, качал головой, отходил и снова начинал бегать по палубе, бормоча:

— Нет, я не мог, не мог ошибиться!

На смене вахты, на темной палубе столкнулся я с Архимедом.

— Вы не очень хотите спать? — спросил он. — Тогда зайдите на минутку ко мне в каюту. — Архимед относился ко мне хорошо — по всей вероятности, потому, что я знал математику немного лучше прочих...

Колеблясь, последовал я за ним. Мне все казалось, что там, в каюте, увижу я другого Архимеда, бледного, с закрытыми глазами.

— Я хочу поделиться с вами великой радостью... Ведь я нашел то, к чему стремился всю жизнь... Да, да, теперь мне все ясно... Ключ в моих руках... если бы знали вы, каким блаженством была эта минута прозрения!

О чем говорил этот человек? Проникнул ли он, уходивший на несколько часов из нашего трехмерного пространства, действительно, в какую-то великую тайну? Или это просто маньяк, безумный?

— А ваши чертежи? — спросил я — и сейчас же почувствовал всю бестактность своего вопроса. Но Архимед презрительно улыбнулся.

— Детская забава! — бросил он. — И подумать только, что я мог потратить на это столько лет! Не в них ключ! Одна минута открыла мне все!

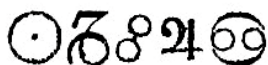
Он замолчал, и, словно забыв, что хотел рассказать мне что-то, смотрел в окно. Над черным морем мигали в облачном небе редкие звезды. И у меня было чувство, что взгляд Архимеда, вдохновенный и острый, проникает до крайних пределов Неизвестного...

Он недолго оставался с нами. Да и хорошо; команда сторонилась его с суеверным страхом, да и нам бывало как-то не по себе в присутствии этого странного человека. Озольтот просто возненавидел человека, опрокинувшего в какие-нибудь несколько часов все его знания, насмеявшегося над его многолетним докторским опытом

В Риге он списался с «Метеора» и след его затерялся. Года через два я встретил его имя в иностранных газетах. Речь шла о «замечательном открытии русского эмигранта Иванова». Мало ли Ивановых рассеяно в нашей эмигрантской среде, но почему то я был уверен, что речь шла о нашем Иванове-Архимеде. Одни газеты выпучивали его, изощряя дешевое репортерское остроумие, другие предсказывали блестящую будущность. Но ни одна из газет не указывала, в чем состоит это открытие, сокрушавшее все основы механики.

Проскользнула заметка, что Иванова принял и долго беседовал с ним Эйнштейн. Другие газеты утверждали, что открытием заинтересовался Эдисон и Иванов едет в Америку...

Счастливого пути, загадочный Архимед!



ЗАВЯДШИЕ ВОЛОСЫ

Мы познакомились с ней на маскараде. Но вы ошибетесь, если подумаете, что это было обычное маскарадное знакомство.

Я попал на маскарад случайно — затащил товарищ. Но как только мы вошли в зал, к нему подбежала прелестная пастушка и увела его. Я остался один. Я был без маски и потому чувствовал себя довольно глупо. Мне казалось, что все обращают на меня внимание. Я не был в настроении, чтобы флиртовать с первой попавшейся маской. Я сердился на самого себя, что черти принесли меня на этот дурацкий маскарад. Я не любитель маскарадного разгула, и серьезно подумывал уже удирать, когда дорогу мне преградил долговязый рыбак в широченном, явно взятом напрокат костюме.

— Вижу, что хочешь удрать! — сказал рыбак голосом моего приятеля Ваньки Горецкого.

— Я попал случайно, — проворчал я, — а тебя как сюда занесло? Ведь ты, со своими пуританскими взглядами, думаю, не очень-то благоволишь к маскарадам.

Не думаю, чтобы Ванька почувствовал насмешку моего вопроса. Нам всем казалось необычайно забавным, что Ванька любил говорить о себе барышням:

— Я не пью и не курю.

Барышни не ценили этого, а так как вдобавок Ванька еще не умел танцевать, то они считали его ужасно скучным. Поэтому меня страшно удивил его ответ:

— Ну, конечно... Я ведь не танцую. Но Мулинька — невеста моя, — пояснил он немного смущенно, — никогда еще не была на маскараде, и ей очень хотелось побывать... Но вот беда: ей очень хочется танцевать — а знакомых никого... Ну, а с незнакомыми я ей — хоть и маскарад — танцевать не позволю... Пойдем, я тебя познакомлю с Мулинькой... Ты ведь танцуешь? Пойдем...

Откровенно сказать, мне совсем не улыбалась перспектива провести вечер около этой Мулиньки, изображая из

себя «кавалера напрокат». Она, конечно, какая-нибудь глупенькая барышня со смазливой рожицей... Какова же еще может быть невеста простака Горецкого? Но отказаться значило обидеть товарища. И я, предупредив его, что могу остаться очень недолго, так как меня ждут в другом месте, неохотно позволил отвести себя к этой Мулиньке.

— Вот, Мулинька, мой товарищ Струков, который хочет с тобой познакомиться, — сказал он, подводя меня к изящной тоненькой русалке. Я был приятно удивлен. Уже по одному костюму было заметно, что у невесты Горецкого оригинальный вкус. Ее русалка — это не был традиционный балахон — белый или зеленый, не было и банальных водорослей, лилий и серебряных нитей в волосах. Ее костюм был из зеленовато-синего газа, казавшегося в складках темно-зеленым. Подол и рукава были обшиты розовыми раковинками, на шее лежала нить бледно-красных кораллов. Вот и все. Но это немногое было так ярко, так определено, что всякий, взглянув на эту зеленую фигурку, мог бы сказать:

— Да, это русалка!

Длинные пепельные волосы странного, я бы сказал — серовато-зеленого оттенка, так вызывающе рассыпались по ее плечам, что дамы, оглядываясь на нее, говорили со скрытой завистью:

— Какой оригинальный парик!

Я пригласил ее на тур вальса. Это был бесконечный вальс с фигурами. И когда я отвел ее на место, я уже знал, что жестоко ошибся в своем предубеждении. Мы вели ненадлежащий бальный разговор, но и по этому разговору я мог судить, что Русалочка — девушка далеко не заурядная.

Забыв о том, что я «тороплюсь», я танцевал с ней танец за танцем и к концу вечера совершенно увлекся моей очаровательной дамой. И в моем уме никак не укладывалось представление, что это восхитительное существо — невеста

такого недалекого малого, как Горецкий. И я никак не мог понять, что могла она найти в моем приятеле. И, сознавая всю бестактность вопроса, я все же спросил об этом.

— Он очень славный, — уклончиво ответила она..

— Но ведь этого мало. Разве такой муж нужен вам, Русалочка?

— А какой же? Не такой ли, как вы?

Я сделал вид, что не расслышал ее насмешливого вопроса.

— Вы не можете его любить! — уверенно сказал я.

— А вот и люблю!

— Неправда! Вы себя обманываете. Он недостойн вас!

— Ну и приятель! Ну и товарищ! — расхохоталась Русалочка. Потом как-то сразу стала серьезной. Я уже заметил, что в ней необычайно быстро менялись настроения.

— Нет, я его не люблю... — сказала она как-то задумчиво, — но я пришла к убеждению, что мне нужен такой муж... Ведь я капризная и злая!

— Ну уж и злая! — усомнился я.

— Да-да, — серьезно ответила она, — злая русалка из самой глубины!

Я хотел что-то ответить, как к нам подошел Ванька.

— Мулинька, — ужаснулся он, — зачем ты пьешь, горячая, такое холодное! — и он отодвинул стоявший перед ней стакан лимонаду.

— Не называй меня этим глупым именем, — вдруг вспылила она, — можешь звать меня: Маруся, Мара, Мэри — как угодно. — Она толкнула стакан, отчего красная струя лимонада разбежалась по белоснежной скатерти.

— Что с тобой, Мул... голубка?

— Ничего. Устала, — резко ответила она, — проводи меня домой!

В эту минуту я действительно согласился, что ей нужен такой муж, как Горецкий, покладистый и уравновешенный.

Вокруг меня была зеленая полутьма. Казалось — где-то высоко светит луна, но в эту глубину проникают только ее слабо отраженные лучи. Кругом возвышались причудливые деревья и кусты. Пробегали какие-то странные существа; проплывали, задевая своими плавниками, рыбы. Я лежал на мягком зеленом ложе, а Русалочка, опутывая меня своими длинными волосами, наклоняла ко мне свое смеющееся лицо и шептала:

— Не освободишься! Никому не отдам я тебя! Ты мой и будешь моим... вечно... вечно!

И волны журчали где-то наверху:

— Не освободишься... не освободишься!

Впоследствии воспоминания о Русалочке смешались в моей памяти с этим сном, виденным мной в ночь после маскарада, я не мог вспомнить ее без этих причудливых растений, рыб и волны душистых волос...

Горецкого я не видал, адреса его не помнил. И мимолетное маскарадное знакомство, обрамленное сказочной мечтою, начало в моих воспоминаниях блекнуть и отходить на задний план.

Я увидел Русалочку мельком на шестой неделе Поста. Она ехала с Горецким на извозчике. Я сразу узнал ее в строгом темно-синем костюме. Узнал ее лицо, которого никогда не видал — ведь там не снимала маски — эти пепельные волосы, выбивавшиеся из-под широкополой шляпы. Горецкий закивал мне. Русалочка сдержанно поклонилась. Я остановился и долго, как дурак, смотрел им вслед. И Русалочка, словно почувствовав мой взгляд, повернула на секунду свою головку. Смотрела ли она на меня? Или ее заинтересовал озаривший полнеба мартовский огнистый закат?

Эта встреча на Английской набережной выбила меня из колеи. Вызвала в моей памяти увлекательную маскарадную Русалочку, мой сказочный сон. Я решил во что бы то ни стало разыскать Горецкого.

Я отправился к нему на Пасхе. Я никогда не бывал у него, слуга меня не знал и не хотел пускать, уверяя, что барин болен.

— Кто там? — послышался из соседней комнаты голос Горецкого, а потом показался на пороге и он сам, — такой странный, бледный, с глазами, показавшимися мне заплаканными.

— Ты что это, Ванька? Серьезно болен? Если бы я не знал, что ты не пьешь...

— Я именно пью, — мрачно перебил меня Горецкий, — то есть, я начал пить... с горя... — и, глядя на меня бессмысленными глазами, выпалил:

— Мулинька бросила меня!

Я не верил своим ушам.

— Но еще дней десять тому назад я видел вас вместе.

— Ну да, дней десять назад... Это именно началось в тот злосчастный вечер, когда мы встретились с тобой на набережной... Она вообще в последнее время стала очень нервной, раздражительной... мы встречались редко... а если и встречались, она мучила меня своими капризами... Но я не придавал им серьезного значения... А вот в тот вечер она... так вот ни с того, ни с сего заявляет мне, что ошиблась во мне. что мы не можем быть счастливы... ну и вообще... Ах, Федя, а ведь я ее люблю... люблю...

Ванька не договорил. В голосе его послышались слезы. Я со снисходительным сожалением смотрел на своего приятеля, думая:

«Ах ты, баба-нюня! Где же тебе обладать таким сокровищем!»

Ваньку было жалко — а все же в душе моей поднималась почти против воли радость, что Русалочка освободилась от человека, с которым у нее не могло быть ничего общего...

Как напал Горецкий на роковую мысль послать меня к Русалочке? Как пришло ему в голову навязать мне роль какого-то примирителя? Почему решил, что она послушается моего совета? Уверял, что они не раз говорили обо мне...

У меня не хватило мужества отказаться — желание ви-

деть Русалочку было слишком велико...

Мне казалось, что я давно уже горячо и искренне люблю эту девушку моих грез...

Стояли голубые апрельские сумерки, когда я в пятый раз звонился у дверей, на которых виднелась скромная карточка с надписью:

Марина Игнатьевна Лаврова

Как это просто, и как мало напоминает «злую русалку из самой глубины моря...»

Теперь она была дома. Горничная ввела меня в зеленую гостиную, полную цветов, напомнивших мне причудливые растения моего сна. Русалочка поднялась с дивана и встретила меня словами:

— Я жду вас уже давно.

И мне не показалось странным, что она ждет меня, человека, с которым виделась всего два раза в жизни.

— Я был у Горецкого, — начал я без предисловий, чтобы развязаться поскорей с навязанной мне миссией, но она перебила меня вопросом:

— И узнали, что мы разошлись?

— Да. И по его просьбе явился сюда.

С лица Русалочки сбежала приветливая улыбка.

— По его поручению? Что же нужно от меня господину Горецкому?

Я знал заранее, что миссия моя обречена на неудачу, но, как зазубренный урок, приступил к тому, что просил передать Ванька. Но она перебила меня на половине.

— Зачем вы говорите против совести? Ведь вы же знаете, что он мне не пара.

— Но вы сами...

— Я ошибалась. Я не могу быть счастлива с мужем, которого не уважаю... Вы видите, ваше поручение окончено.

Она поднялась. Я чувствовал, что она задета.

— Значит я должен уходить? — как-то неловко спросил я, вставая.

— Если вы пришли только за этим...

— Русалочка! — я не мог назвать ее Мариной Игнатьев-ной. — Ведь вы же понимаете, что это — только предлог, предлог, давший мне возможность прийти к вам. Неужели я должен уйти, не сказав вам и двух слов?

Она молчала.

— И вы не позволите мне зайти к вам еще раз?

— Я завтра уезжаю. Можете передать это Горецкому... И не вернусь в Петроград, по всей вероятности, никогда...

И, внезапно меняя тон, прибавила:

— Ну, садитесь же, глупый!

А дальше — дальше было то, что в моем сне — волна душистых волос, цветы, ласки, и ревнивое:

— Ты мой! Мой! И не отдам тебя никому! Не отдам!

Давно уже встало апрельское солнце. Золотые нити протянулись в странных волосах Русалочки, светлые блики пробежали по ее рукам.

— Ведь ты не уедешь сегодня? Это было бы дико! — спрашивал я, глядя в ее странные, бездонные глаза.

— Уеду.

— Но вернешься скоро?

— Никогда.

— Тогда я поеду с тобой.

— Нет.

Ее ответы были вялы и односложны.

— Русалочка, но что же значит это? Или это — только игра?

— Я люблю тебя, — ответила Русалочка, смотря на меня каким-то колючим взглядом, — и не разлюблю никогда... Я это чувствую. Но счастливы мы с тобой не будем. Я не хотела бы быть твоей женой... Боже, как это пошло... Сначала жених, потом любящий муж, а потом начнутся мелкие, га-

деньские измены. Всегда, всегда это так! Я не хочу этой пошлости. Я хочу, чтобы память о тебе была всегда светлой и чистой, как морская гладь.

Я читала где-то, что в жизни человека бывает только один счастливый день. Вчера был мой день... Я хотела бы, чтобы и ты помнил этот день, чтобы не было в жизни твоей — как и у меня — более яркого, более счастливого дня. Я не хочу, чтобы ты любил другую!

Глаза Русалочки сверкнули ревнивым огнем. Внезапно, словно уловив какую-то быструю мысль, она схватила со стола серебряный кинжальчик, и блестящее острие врезалось, как корабельный киль, в светлое море ее волос.

— Вот тебе прядь моих волос, — сказала серьезно Русалочка, и глаза ее загорелись каким-то экстазом. — Носи ее с собой везде и всюду, слышишь? Пока эта прядь будет с тобой, ты будешь помнить свою Русалочку, этот день, наш день!

Сладко-жуткое чувство наполнило мою душу.

— Поклянись мне, что ты никогда не расстанешься с моей прядью! Слышишь, клянись!

— Клянусь, — прошептал я, приникая к ее рукам, — но скажи, Русалочка, неужели же мы с тобой никогда больше не встретимся? Русалочка! Ведь ты же знаешь, как я люблю тебя!

— Если ты очень захочешь этого — я приду к тебе, — сказала она задумчиво. — Но не теперь, не теперь... Пусть пройдет сначала несколько месяцев... несколько лет... что такое годы?.. И если любовь твоя останется прежней — вынь мои волосы, гляди на них... зови меня... и я приду... Но смотри! — глаза ее стали опять зелеными, — если ты разлюбишь меня, изменишь мне — я этого не перенесу... Я убью ее... и сама умру... и ты узнаешь об этом в тот же час... Волосы тогда завянут.

— Как завянут? Что ты хочешь сказать этим?

— То, что сказала. Ведь это не волосы — водоросли. А водоросли вянут. Ну, а теперь уходи... Уходи... Прощай!

Я не верил, что Русалочка уедет, но она уехала. Горничная не могла сказать мне, куда. На каком вокзале искать? Я бросался на все... Она не оставила мне своего адреса, никакого письма... И все же, все три года, протекшие с «нашего» дня — я чувствовал ежедневно, ежеминутно чувствовал, прямо осязаемо, свою связь с этой женщиной. И я приписывал это — до чего может быть человек суеверен, — таинственной пряди волос, хранимой мной бережно в бумажнике.

Странно я жил эти годы. Отдавшись весь любимой науке, я чуждался общества, особенно женского, никем не увлекался.

Случай свел меня с Горецким. Он давным-давно утешился в измене своей Мулиньки, был женат и имел двух краснощеких мальчишек-близнецов. Жена его вполне подходила к нему: добродушная, недалекая мещаночка, прекрасная хозяйка, добрая мать. Я бывал у Горецких. После дня, полного тяжелой умственной работы, меня тянуло в теплый уют семейного очага. Я стал задумываться о том, что пора бросить свою холостую жизнь, обзавестись собственным уютным уголком. Мне шел уже тридцать шестой год.

Русалочка мерещилась мне, как светлый сон, о котором приятно вспомнить в скучные минуты своей серой жизни, — но именно только, как сон...

К этому времени относится мое знакомство с Лидочкой... Я сначала не увлекался ею, но она не могла не нравиться мне своей непосредственной свежестью, своей искренностью и чистотой. Я думал, что более подходящей жены мне не найти. Сердце искало уюта... ласки... Горецкие обрабатывали меня тоже в этом направлении... Я решил сделать ей предложение.

Накануне я был у Горецких. Жены его в комнате не было — она укладывала спать детей, которые сегодня были очень беспокойны. Горецкий говорил о том времени, когда был женихом, и вдруг почему-то вспомнил свою первую невесту — Мулиньку.

Я вспомнил Русалочку и что-то защемило у меня на душе.

Я вышел от Горецких с мыслью о ней.

На улице была ночь — белая петербургская ночь, полная неясных желаний, жуткого томления, задумчивой грусти. В голубой полумгле возникали воспоминания и мысль о Русалочке стала снова яркой, лучезарной — как будто бы вчера еще обвивались вокруг моей шеи душистые волосы, как будто бы вчера еще смотрел я в эти серо-зеленые задумчивые глаза...

Накануне решительного дня моей жизни захотелось мне проститься с ясной мечтой прошлого, захотелось, безумно захотелось увидеть мою Русалочку. Вспомнил «наш» день, ее волосы, ее слова. «Если захочешь увидеть меня — желей, зови меня, смотри на мои волосы — и я приду!» И, полный этих воспоминаний, я открыл свой бумажник, вынул заветную прядь и стал смотреть на ее мягкие волосы.

— Русалочка, я жду тебя! Русалочка, приходи! — шептал я, замороженный волшебством майской ночи.

И ждал, ждал, уверенный, что такой ночью возможно все...

— Ты ждал меня, милый? Я пришла...

Полна таинственных звуков была белая петербургская ночь. И не было странно моему уму, что в белой тиши пришла ко мне желанная дорогая гостья...

Видел ли я Русалочку той ночью у Невы, или это был только лихорадочный бред? Не знаю. Я был болен. Долго болен...

Когда я приходил в себя, я видел около себя Лидочку, попеременно со своей матерью дежурившую у изголовья больного. Через месяц после своего выздоровления я стал женихом Лидочки. Мне казалось, что я люблю эту девушку и я был уверен, что буду с ней счастлив.

Искренне и чистосердечно рассказал я своей невесте о Русалочке, и, подчиняясь ее немой просьбе, вынул прядь, лежавшую три года в моем бумажнике, и запер ее в ящик

стола. Уничтожить ее — нет, этого я все-таки не мог...

Мы повенчались в ноябре. Медовый месяц проводили мы в Крыму. Он растянулся на целых два и эти два месяца живут в моих воспоминаниях, как остались там картины светлого чистого детства.

Однажды мы долго гуляли с женой у моря. Было так тихо, так приятно свежо, что мы гнали мысль о душных комнатах, о сне.

— Пойдем домой, — сказал я наконец, дотрагиваясь до руки Лидочки, смотревшей в морскую даль. Странное чувство возбуждало у Лидочки море — она видела его в первый раз. Оно и влекло ее к себе с гипнотической силой, и возбуждало неясное жуткое волнение.

— Пойдем, Лидочка, — повторил я.

Жена обернулась, потом пугливо прижалась ко мне и прошептала:

— Отчего она так смотрит на нас, Федя?

Я обернулся и встретился с хорошо знакомым мне взглядом серо-зеленых глаз. Появление Русалочки было так дико, так ненужно, что я даже не догадался поклониться. А она, продолжая гипнотизировать меня взглядом, спросила:

— Где мои волосы? Где мои волосы?

— Их нет со мной! — резко ответил я, глядя на побледневшее личико жены.

— А ваше слово? Ваша клятва носить их вечно с собой? Клятва!

Сознавая, что делаю не то, что надо, чувствуя себя трусом, я взял Лидочку под руку и быстро пошел с ней по пляжу...



Состояние Лидочки стало беспокоить меня не на шутку. Она совсем потеряла свой задорный смех, стала часто и подолгу задумываться и неохотно шла купаться.

— Она преследует меня в море, — жаловалась жена, — лишь только я войду в воду — она обязательно очутится за моей спиной... Я боюсь и ее, и моря... Уедем отсюда!

Уехать казалось мне позорным бегством. Я решил разыскать Русалочку и серьезно с ней поговорить. Мы вышли из дома вместе с Лидой. Я сказал ей, что иду к товарищу, не хотел говорить ей, что решил идти к Марине Игнатьевне (так я упорно называл Русалочку в разговоре с женой). Лида пошла купаться. По утрам она больше не ходила, боясь встречи с Русалочкой. Я проводил жену до поворота в купальню.

— Не оставайся долго в воде — видишь, какие волны, в воде холодно.

— Какой ты смешной, — ответила Лида, — вот сразу видно, что ты не купаешься... когда волны, теплее, чем если тихо... хотя я не люблю волн... Я скоро вернусь. Мне жутко, когда я слышу этот шум... Особенно вечером... Ты знаешь, я ведь очень плохо сплю, когда бурно. Ну, я иду. Прощай!

Она прошла несколько шагов, остановилась и крикнула еще раз:

— Прощай!

Я долго смотрел на белую фигурку, выделявшуюся на фоне синего неба, и почему-то вспомнил Русалочку.

Почему Лидочка сказала мне: «прощай»?

Я не могу писать об этой ужасной ночи, когда под звуки бешеной осенней бури бросался я по всем знакомым, ища жену. Ворвался зачем-то в отель, где жила Русалочка — я не застал ведь ее дома, когда приходил... Ее и теперь не было дома...

Эта ночь... Разве это была ночь? Это были годы, десятилетия...

Наутро в купальне нашли платья моей бедной Лиды. Тело ее море не выбросило...

Как права была она, что боялась ласково-лживых волн южного моря... Как права была она, боясь злых глаз своей соперницы.

Я знал, что Лида стала ее жертвой... Как сквозь сон, вспо-

нил я сказанные ею слова:

— Если изменишь... — я убью ее... и погибну сама.

Я знал, что она была виновницей смерти моей Лиды... Но где было искать убийцу, исчезнувшую в ту же самую ночь?

Разбирая в Петербурге деловые бумаги, я нашел в ящике стола какой-то серый комочек. Стол стоял у сырой стены и из ящика пахло плесенью... нет, не плесенью — болотом... Я вынул серый комочек — и узнал в нем прядь женских волос... Изменившую свой цвет, свалявшуюся... И, при виде странной перемены этой пряди, вспомнил слова Русалочки:

— Когда я умру — волосы мои завянут...

Да, они завяли — как вянут водоросли... как вянут болотные травы...

Я бросил прядь в огонь, и, пока она тлела, думал о странной женщине, давшей мне день — один день — неизъяснимого блаженства... так непонятно любившей меня и ценой собственной жизни оторвавшей от меня ту, к кому была искренне привязана моя душа...

Прядь сгорела... Кучка золы... Если бы так же могли сгореть и воспоминания!



LORELEY

Ich gtaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn...
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley getan...

— Я отдаю свой дневник тебе. Не хочу, чтобы он оставался у меня... Как вечный укор. Боюсь, что могу еще его когда-нибудь уничтожить. Под горячую руку. Я ведь чувствую себя все таки виноватым в ее смерти.

— Ты только исполнил свой долг.

Савельев нервно закурил папиросу. Мы помолчали.

— Ты сохрани этот дневник у себя... для нее... для моей невесты... Я ей ведь написал, что мы должны расстаться.... Но этого она еще не поймет.. Не думаю, впрочем, что наш разрыв произведет на нее слишком сильное впечатление... Ей всего восемнадцать лет. А в этом возрасте не переживают глубоко... Вот, когда она станет старше, возмужает, переживет серьезное чувство... Тогда пусть она прочтет это... и узнает, что заставило меня уйти от нее... А если я умру, то пошли ей этот дневник. Да?...

Я исполнил свое обещание ровно через десять лет, когда мы были в Одессе.

Я посетил ее в ее уютной квартирке. В маленькой светлой гостиной была масса цветов, расставленных с большим вкусом. На стенах висели довольно хорошие картины. На окнах — белоснежные занавески, скатерти, ковры. Все говорило о несомненном вкусе хозяйки. Дверь в соседнюю комнату была приотворена. Там сидели за накрытым белой скатертью столом со своей бонной дети — чистенькие, здоровые, как сама мать.

Прощаясь, я невольно задумался, что потерял мой погибший друг. Был ли бы он удовлетворен такой спокойной жизнью в рамках мещанского уюта, рядом с молодой и хо-

рошенькой женой? — Вряд ли...

Та буйная любовь, на огне которой он сгорел, была гораздо ближе его характеру.

Да, бедный друг... Ты, все-таки, был счастлив.

Эта женщина, так почти равнодушно встретившая известие о твоей гибели — разве она поймет? Но ты хотел, чтобы она прочла исповедь твоей неудавшейся жизни...

Красивую сказку о русалке с золотыми волосами...

Коварной сирене...

Лорелее...



«...Учеником — лет пятнадцать было мне тогда — проходил я как-то мимо магазина художественных вещей, где в витрине была выставлена замечательная картина. Море. Зеленое море. Сумерки. И на этом, написанном мастерски фоне, на первом плане — скала. А на ней — женская фигура. Лицо — изумительной красоты. Но главное — волосы. Длинные, золотистые, почти золотые, они одевают всю ее фигуру. А в руках золотой гребень, которым она их расчесывает.

И подпись:

«Лорелея».

До тех пор я никогда не слышал песни о Лорелее. Услышал только впоследствии. Но имя это и вся фигура остались в моей памяти. Может быть, это смешно: каждый день, идя в школу и из школы, я останавливался у окна и любовался на красавицу. Опаздывал на уроки. Терпел наказания.

Ах, мне было все равно. Я любил эту женщину. Именно любил — как могут любить юноши в пятнадцать-шестнадцать лет.

Я видел ее во сне ночью. Я грезил о ней днем. Я был уверен, что когда-нибудь встречу женщину, подобную Лорелее...

Весной нас, учеников мореходного училища, послали на практику в море. Я вернулся в Ригу только в октябре. Плавание, новые впечатления, новые города, новые люди

— все, чем манит и увлекает морская жизнь, открыли мне новые горизонты и я стал забывать свое золотое видение. Но все же, вернувшись в Ригу, вспомнил и поспешил к знакомой витрине.

Увы — моей Лорелеи там больше не было...

Я кончил училище. Стал плавать штурманом. Втянулся в жизнь, которую так любил, в которую ушел против воли родителей. В чужих городах узнал я женщин. Как узнают их моряки...

Лорелея была забыта...

С товарищем своим, с которым мы вместе кончали училище, сидели мы как-то, случайно встретившись, в каком-то кабаке в Баку. Много пили. Слушали музыку и нестройное оранье кучки восточных людей, сидевших за угловым столиком. К нашему столу подошла молодая цыганка. Она была очень красива, с большими черными глазами и ожерельем из крупных блестящих бус. На него я почему-то обратил внимание.

— Дай руку, погадаю, погадаю! — приставала она.

Мы были пьяны. Товарищ начал первым. Много смеялся тому, что сказала ему красивая цыганка, и пристал ко мне, чтобы я погадал тоже. Я не люблю таких развлечений — но на что не согласишься в пьяном виде? Я протянул ей руку. Сначала она определила — и довольно верно — мой характер. Впрочем, говорят, что это не составляет труда: не умею владеть мускулами своего лица. В общем все, что она говорила, особого интереса не представляло. И в пьяном мозгу родился вопрос:

— Скажи мне лучше, когда я умру?

Лицо гадалки стало очень серьезным.

— Нельзя. Таких вещей лучше не спрашивать.

Но я с упрямством пьяного продолжал приставать к ней. Бросил ей крупную монету. Она, очень неохотно — взглянула еще раз на мою руку.

— Ты... погибнешь... от белой женщины... с золотыми волосами...

Перед глазами моими встала моя юношеская любовь.

— И скоро?

— Цыганка не может видеть годов... Она не знает точно чисел... она знает только, что до старости ты не доживешь... Да, не доживешь...

— Ну, приблизительно, приблизительно...

— Не знаю.. Я вижу здесь «144». Может быть, это 144 года, до которых ты доживешь, а может быть — 144 луны, которые ты увидишь еще на земле...

Но мне понравилось больше 144 года. Мы долго еще веселились с Сережкой, вспоминая это. К нашему столику подошли машинист и другой штурман с нашего парохода. Я разрешил Сережке рассказать, что я доживу до 144 лет, но просил не говорить о белой женщине...

Летом прошлого года мне пришлось поехать в Ригу, куда меня призывало письмо отца: мама очень заболела. Я пробыл дома целых два месяца и решил вернуться в море только тогда, когда мама стала определенно поправляться.

В это лето я близко сошелся с Олечкой. Я знал ее еще с детских лет, но никогда не обращал особого внимания. С барышнями я вообще не знал, как себя вести... Мы ведь знали совсем других женщин...

Мама очень доброжелательно смотрела, что между нами завязывается настоящая дружба. Она — хотя мне и не говорила еще об этом — мечтала, что мы станем женихом и невестой.

Жениться я, собственно говоря, вовсе не собирался. В первых, мне было всего двадцать четыре года. Затем, я считал, что моряку жениться не надо вообще. Ну, какой смысл быть женатым, видаться с женой каких-нибудь два-три раза в году? Правда, некоторые капитаны выписывают своих жен, если стоят где-нибудь в порту долго. Иные берут их с

собой в плавание. Но мне это как-то не нравится. Пусть женятся люди, привязанные к суше. А не мы.

Родители основательно обрабатывали меня в этом направлении. Мама втайне надеялась, что, женись на Олечке, я брошу море, останусь с ней. Мама меня очень любила — ведь я был единственный сын. Других детей не было. Умерли маленькими... Наконец, я сдался и сделал Олечке предложение.

И не раскаивался. Олечка была такая прелесть! Ей было семнадцать лет, но она казалась еще моложе. Мы проводили прекрасное время. До тех пор я серьезно никем не увлекался. Повторяю, я узнал женщин, как узнают их моряки, закидываемые в чужие города чужих морей... Таких женщин я только и знал... Барышень не знал и чуждался их...

Ну, Олечка была другой... С ней я как-то сразу знал, как себя вести... Она же была еще настоящее дитя... Мне казалось, что я серьезно влюблен.

Ее родители не имели ничего против нашего брака, только решили, что нам надо подождать года два — слишком молода была еще моя невеста.

Я охотно исполнял все капризы моей Оли. Да кто не исполнил бы капризов такой прелестной девушки? Так что, когда она пристала ко мне, чтобы я проводил ее к знаменитому ясновидящему цыгану, который был в моде в нашем городе, я тоже согласился, хотя мне вовсе не хотелось этого. В приемной знаменитого цыгана, где было множество чающих, Олечка очень волновалась. Когда дошла до нее очередь и в приотворенную дверь мелькнуло его лицо — строгое и красивое — я шепнул ей шутя:

— Смотри, не влюбись в него!

Она оставалась у цыгана долго. Я стал почему-то беспокоиться. Вышла она, немного бледная и очень взволнованная.

— Колечка, милый, — сказала она, заметно волнуясь, — пойди тоже к нему... Ну, милый, пожалуйста.... я прошу тебя... очень прошу. Пойдешь? Да?

Я поморщился.

— Не люблю я этого. Что же мне спрашивать у него?

— Пусть он скажет тебе, — Оля как-то беспомощно смутилась, — любишь ли ты меня!

Я расхохотался.

— Глупенькая, как будто бы ты не знаешь этого и без цыгана! А ты разве не могла спросить его об этом сама? Ведь будет ужасно глупо, если я обращусь к нему с таким вопросом!

— Я спрашивала... но... — в голосе Олечки послышались слезы, — что ты... не любишь меня...

— Ну, тогда я пойду к нему и привлеку его к ответственности за распространение клеветы, — засмеялся я и стал ожидать своей очереди. Дожидаясь, я все время приставал к Олечке, чтобы она рассказала мне, что сказал цыган. Сначала она не хотела, но потом призналась: цыган сказал ей, что жених не любит ее, но она все-таки выйдет замуж, и у нее будет большая семья.

Олечка не слишком хорошо умела передавать чужую речь и я не все понял из ее рассказа.

— Ну вот, как же это так — он говорит, что я не люблю тебя, но все-таки женюсь?

Но в эту минуту дверь открылась. Я встал и неохотно последовал в кабинет цыгана. Я почти не слушал, что он говорил мне, но потом до моего слуха донеслись несколько слов, удививших меня. Как в зеркале, читал он мое несложное прошлое. Детство. Смерть сестер. Борьба с родителями за мореходное училище... Будущее его почему-то смутило. Он стал говорить о плаваниях. Чужих землях. Больше ничего.

Видя, что он замолчал, я спросил.

— Ну, а когда я женюсь? Моя невеста...

— Ты не женишься, — сухо ответил цыган. — Нет у тебя невесты.

«Как легко ошибаются предсказатели!» — подумал я. Но он прочел мои мысли.

— Не быть ей твоей женой. Вам в жизни не по дороге. И потом — ты ведь не любишь ее... Потому что в твоей душе другая любовь. Громадная любовь! Любовь к женщине с золотыми волосами! И эта любовь погубит тебя!

Чтобы не огорчать Олю, я сказал ей только, <что> цыган сказал мне: «В вашем сердце громадная любовь!»

Оля была удовлетворена. А я глубоко задумался над словами ясновидящего... И цыган, и цыганка... Оба...

Неужели цыгане знают больше, чем остальные смертные?

Белая женщина с золотыми волосами...

Моя Лорелея...

Пока Олечка была со мной, мне казалось, что я очень ее люблю. Но, как только между нами легли волны моря, я стал задумываться. Говорить с ней мне было всегда очень приятно. Но о чем мы говорили? — всегда только о пустяках. Иногда я рассказывал ей смешные истории, дразнил ее... Но никогда ничего более. Я думал, что в письмах, может быть, раскроется яснее ее душа. Но Олечка не умела писать письма. Она писала мне и очень пространно о своих подругах, о новых нарядах, о вечерах, на которых бывала — Олечка очень любила танцевать, — о своих снах. Спрашивала их значение. Заканчивала письма всегда строфой из какого-нибудь любовного романса.

Но никогда в письме ее не проскользнуло ни одной саркастичной мысли. Никогда не написала она о какой-нибудь книге, которую прочитала. В пьесах, которые она видела, отмечала с удовольствием того или иного артиста. Но в театр она ходила не так часто. Главное для нее было кино. Артистов фильмы она знала всех, вся комнатка ее была уве-

шана их карточками... И, мало-помалу, я стал там, в море, приходить к сознанию, что в душе моей Олечки не было ничего.

Может быть, — и даже наверное — она со временем станет хорошей женой, матерью, образцовой хозяйкой — но душе моей она не даст никакой пищи...

...Ах, Лорелея с золотыми волосами, придешь ли ты когда-нибудь в мою жизнь?

Я в полдень только что стал на вахту, когда на мостик ко мне поднялся Сережка. Теперь мы плавали на одном и том же пароходе «Владимир», совершавшем рейсы между Одессой и Лондоном. Мы вышли из Одессы со множеством пассажиров. Их было триста — полный комплект нашего небольшого судна.

— Посмотри туда, вниз, — сказал мне с хитрой усмешкой Сережа.

— Куда?

— Вот бестолочь! Ну, где гуляют пассажиры...

Я посмотрел.

Я подумал бы, что это наваждение, если бы Сережка, которому как-то, под пьяную лавочку, я рассказал свою тайну, но увидел ее первым. Внизу, на палубе, где, пользуясь тихой погодой, гуляли пассажиры, я увидел женскую фигуру, сидевшую на скамейке у борта. Она задумчиво смотрела вдаль. Золотистые волосы ее были прикрыты прозрачным шарфом, которым играл ветер. Я не мог не узнать ее — да, это была она, моя Лорелея!

Такой она должна быть в жизни!

Лорелея, которая сошла с полотна художника!

Лорелея моих грез!

Я проклинал свою судьбу, что должен быть на вахте в то время, как Лорелея так близко от меня — и так далеко. Первый раз в жизни я был мыслями далеко от моего дела...

Мне казалось, что она несколько раз смотрела наверх. На меня. Конечно, это было только наивное воображение. Она смотрела на небо, на море.

Никогда вахта не была такой длинной, как на этот раз. Я боялся, что она уйдет. И она ушла. Ушла, когда боль-

шинство пассажиров покинули палубу — обед. В этот день я ее больше не видал.

Назавтра снова видел ее мельком — и опять во время своей вахты. Проклятие — неужели я никогда не увижу Лорелею вблизи, не буду с ней говорить?

На третий вечер на «Владимире» была традиционная вечеринка. Обычно это устраивалось попозже, но теперь капитан решил использовать хорошую погоду, потому что барометр падал и вообще все признаки говорили за то, что близится буря. А разве соберешь пассажиров не только что в шторм, да просто в такую погоду, которую мы называем «свежий ветер», а они, пассажиры — буря?

Я очень боялся, что она не придет. Она ведь держалась все время одна и как-то чуждалась пассажиров. Но она была! Я ведь свободен — свободен до полуночи!

На этот раз веселье как-то не клеилось. Пассажиры, очевидно, были еще слишком мало знакомы друг с другом. Нам, подвахтенным штурманам, приходилось обычно развлекать пассажиров. Бывала и программа — правда, «самодельная», приблизительно одна и та же — да ведь пассажиры-то всегда менялись, так что это было не беда. Помощник машиниста играл на скрипке, третий штурман — на рояле, я должен был петь. Говорят, голос у меня хороший, хотя я нигде не учился. Эти вечеринки были изобретением нашего капитана, и он ужасно гордился этим. Мой номер сегодня был последним. Я взял гитару. На этот раз я пел с удовольствием. Обычно я смотрел на это, как на тяжелую обузу... А сегодня я пел ведь для нее. Старался вложить в свой голос все, что мог. Мне казалось, что я с ней один. Остальные для меня не существовали.

Оттого ли, что я очень волновался, но на третьей песне я как-то немного спутался. Обычно этой со мной не случалось. И внезапно, совсем неожиданно, подхватил свежий женский голос. Я сразу понял, кто это пел. Новая сила влилась в мое пение. Мы стали петь — к вящему удовольствию капитана — импровизированный дуэт. Наши голоса, как сказали потом слушатели — очень подходили друг к другу.

Аплодировали бесконечно, просили бисировать без кон-

ца. Но, под конец, я обратился к своей партнерше, попросив ее спеть соло. Публика поддержала меня. И она не стала отказываться. Попросила у меня гитару. Взяла два-три аккорда и запела. Этот голос! Всю свою жизнь не слышал я ничего подобного! Что то мягкое-мягкое, как южная ночь, было в нем, и переливался он, как морская волна. Странные песни пела она — никогда не слышал их, ни раньше, ни позже. Все про море, про глубину, про подводные цветы. А потом ту, которая окончательно свела меня с ума:

Беда ли, пророчество ль это —
Душа моя как-то мрачна...

Закрыв глаза, затаив дыхание, слушал я ее. Видел Лорелею на скале. Окруженную высокими волнами. А когда она кончила — маняще и грустно:

Погубит его Лорелея
Волшебною песней своей!

я не знаю, что стало со мной.

Мне так и хотелось броситься к ее ногам, целовать ее руки... Просить о чем-то... Кричать о своей любви...

И, сам не знаю как, рассказал я незнакомке — имени которой даже не знал — историю своей первой любви. Про русалку... Сирену. Лорелею. И сказал ей, что это она.

Мы провели с ней — к общей зависти — весь вечер. И, стоя на вахте, я всю ночь грезил Лорелеей. Слышал в волнах ее голос. Огоньки встречных судов и звезды ясного неба казались мне ее глазами.

Но на другой день я ее не видел. Встал я рано, бродил, сердитый, по палубе, заглядывал в салон — ее нигде не было. Сережка, которому уж, конечно, третий рассказ про «сирену» и который сам не говорил с ней — она покинула салон почти тогда же, как я, в двенадцать — дразнил меня. Конечно, ему же было завидно, что он не мог беседовать с красавицей — был на вахте. Но я резко отшучивался от него и продолжал бродить. Я боялся, что она будет прогу-

ливаться во время моей вахты. Но я ошибся. Вообще в этот день было мало пассажиров на палубе. Было серо. Легкий туман сгустился над морем. Было похоже на дождь. Море волновалось еще не слишком, хотя можно было ожидать сильного ветра. Что-то необычайно скучное было над морем. В тумане выли протяжно пароходные сирены. Дождь пошел ночью, во время моей вахты. Хотя я был в дождевике, капли стекали мне за воротник, назойливо били по лицу. Я продрог. Я сдал на рассвете вахту Сережке, сказав ему, с некоторой завистью:

— Вот, теперь дождь перестает, а я все время должен был мокнуть.

Внизу, у входа в коридор, между пассажирскими каютами I класса, увидел я ее. Она стояла в дверях и, со странным выражением на лице, смотрела на море. Серое и взволнованное.

— Солнца не будет, — грустно сказала она.

— Да, неудачный день выбрали вы встречать восход, — подтвердил я.

— Нет, не то. Я видела много восходов... на разных морях... Я много плавала... покойный отец мой был моряком...

Потом, взглянув на меня, сказала как-то неожиданно:

— Почему у вас такие грустные глаза?

— У меня горе... большое горе... я потерял мать... она была больна давно. Но мы рассчитывали на полное выздоровление... А теперь, неожиданно... месяц тому назад... Узнал я уже после похорон...

— Вы очень любили свою мать? Я не помню своей матери. У меня был только отец и я была к нему страшно привязана.

— Как я к своей маме... Я был единственным сыном... У меня были еще сестры, но они все умерли в раннем детстве... Мама очень неохотно отпустила меня в море... Когда я приезжал домой, она все уговаривала меня бросить море..

Я запнулся, потому что мне вспомнился мой последний приезд — когда мама призвала на помощь мое увлечение Олей...

Оля... До нее ли мне было теперь! Напишу, напишу... Но только не сейчас... Да она поймет и сама, что после смерти матери мне не до писем... Она же знала, как я любил мамочку...

Не знаю, как истолковала Лорелея мое внезапное молчание. Она снова внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Так ваша мама уговаривала вас бросить море? Лучше бы вы сделали это...

— Почему?

Она не отвечала, устремив снова свой взгляд в туманную предрассветную даль.

— И вот, после смерти мамы остался я один. У меня нет никого, кто мог бы понимать меня...

— Разве вы никого не любите? Не любили?

Вопрос прозвучал так неожиданно, так странно. Но она не смотрела на меня, не сводя глаз с моря, где скоро должно было встать, скрытое тяжелыми тучами, солнце. Казалось, она отвечает на свои собственные мысли.

«Люблю! Люблю страстно, безумно! — хотелось крикнуть мне. — Любил тебя всю жизнь! Всю жизнь грезил только о тебе одной!»

Но не посмел. И ответил:

— Нет. Я люблю только море.

— И я люблю одно море!

Она протянула вперед свои руки в длинных белых рукавах. Ветер играл ими.

И стала похожа на белую чайку, что собирается лететь...

За полчаса до вечерней вахты вышел я на спардек. И там встретил Лорелею. Белая фигурка ее светилась на фоне ночного, все еще спокойного моря. Она стояла, облокотясь на релинг. Казалось, она плакала.

— Что с вами? Поделитесь со мной и вам станет легче... Вот я же сказал вам о своем горе... О мамочке... А вы...

Она не ответила. Положила мне руку на плечо. А потом прижалась ко мне — и зарыдала.

Я никогда не видал рыдающих женщин. Олечка плакала иногда, но это же было по-детски. Но тут я не знал, что мне с ней делать... И сам не знаю, как поцеловал я ее склонившуюся мне на плечо щеку. Она подняла на меня свои заплаканные глаза и прошептала:

— Вы меня любите? Да? Зачем? Вы даже не знаете, кто я и как меня зовут.

— Мне все равно, кто вы такая... А дурной быть с такими глазами нельзя.

— Что глаза? Глаза — это море... Сейчас оно спокойно, но подует ветер, поднимутся волны... Буря... И оно погубит тебя... Море обманчиво... Обманчивы глаза...

Я пережил три вечера, полные такого захватывающего счастья. Мара сказала, что любит меня!

Впрочем, я не хотел называть ее Марой. Зачем Мара? Она была Лорелея!

Моя Лорелея!

Каждую свободную от службы минуту проводил я с ней. Я верил в ее любовь, хотя понять эту странную девушку не мог. Она было ужасно непостоянна.

Сначала стояла тихая погода. Ветра еще не было, хотя капитан — старый моряк — утверждал, что близится буря. Что-то такое уже чувствовалось в воздухе.

Мне казалось, что ее настроение зависит от моря. Скромны и робки были ее первые ласки. Они напомнили мне ласки Олечки — так же чисты и невинны. Но когда предсказание капитана исполнилось — поднялся ветер, когда он стал крепчать — ласки Мары стали порывистей. В них стала проскальзывать незнакомая мне в ней страсть.

Я терял голову. Я жил только Марой и для Мары. Я проклинал каждую минуту моей вахты, лишавшей меня близости Лорелеи!

Ветер крепчал все более и более. После обеда начался настоящий шторм.

«Не придет она сегодня — куда!» — думал я с отчаянием. Мы встречались ведь только на палубе. Ко мне приходит она не хотела. К ней в каюту также не смел прийти — хотя она и занимала отдельную, но не хотела моих посещений, очевидно, опасаясь сплетен. Не хотела, чтобы мои посещения видели другие. Все наши свидания бывали на палубе. Под звездным небом. Или в ясные дни.

«Не придет, не придет!» — думал я. В салоне ее тоже не было. Там не было вообще почти никого. Все пассажиры спрятались в каюты. Даже те, кто не страдал морской болезнью, не решались выходить в такой ветер, да особенно вечером. Впрочем, и не советовалось. Дня через два будем в Лондоне.

«Не придет, не придет! Ведь я сегодня ее вообще не видел!»

Но она пришла.

Милая!

Никогда, ни в один вечер не видел я ее такой, не испытывал близ нее такого блаженства, не знал таких страстных ласк.

Ее ласки были так же бешены, как море!

— Пойдем ко мне, — шептал я, — идем ко мне! До вахты осталось больше часа, Мара!

— Нет, здесь так хорошо... люблю бурю... люблю море!

И она, сидя у меня на коленях, под песню волн отдавала мне мои безумные поцелуи. Ветер трепал ее волосы. Терзал ее белую шаль.

Я шептал какие-то безумные слова.

— Мара... идем ко мне... Лорелея... Моя Лорелея... Ведь ты любишь меня. Будь моей!

Она соскочила с моих колен. И стала передо мной, белая, стройная...

Прекрасная...

Я хотел броситься к ее ногам... умолять о прощении... Как смел я, безумный, оскорбить это чистое видение! Как смел я...

Но она подошла ко мне, заглянула в мои глаза, словно хотела прочесть сокровенные мысли, сжала мою руку и сказала:

— Да, Коля! Да. Но не сейчас. И к тебе в каюту я не пойду. Я сама тебе назначу место, день и час...

Я хотел обнять ее, но она ускользнула из моих объятий. Я видел, как быстро удаляется ее фигура. Я бросился за ней. Но путь мне преградил капитан. Он хотел дать мне, в связи с начинающимся штормом, еще некоторые распоряжения.

Штормяга все усиливался. Ночью разразилась такая буря, какой я, право, не запомню ранее — ведь я плаваю с пятнадцатилетнего возраста, а теперь мне двадцать пять. Я спал почему-то плохо. И, ни с того, ни с сего, приснилась цыганка, говорившая мне:

— Я вижу 144... Не знаю, проживешь ли ты 144 года или еще 144 луны увидишь на земле...

144 луны — это двенадцать лет... Это было два года тому назад. Два года — это всего двадцать четыре луны...

Что за глупости лезут мне в голову! Конечно, моряк, как и солдат, должен быть готов к смерти в любую минуту. Но зачем мне умирать? Я хочу жить! Я так счастлив! Я люблю. И меня любят!

Я проснулся с мыслью о Лорелее.

Четыре шхуны погибли в ту ночь Один большой пароход потерпел аварию со множеством человеческих жизней. А рыбачьих лодок не перечесть.

Шторм бушевал целый день. Ни одного пассажира не было видно на палубе. Мару я видел раза два — в то время, как был на вахте. Как будто бы нарочно, она избегала встре-

чи со мной. Может быть, она сожалела о своих вчерашних словах. Женщины ведь так странны.

В полночь началась моя вахта. Трудная вахта — проходили опасное место — камни, скалы, фарватер узкий... А тут еще этот шторм. Думал — капитан сам на мостик выйдет. Но он доверял мне. Несмотря на свою молодость, я считался хорошим моряком. Главное — добросовестность. Добросовестность у всех моряков в крови, но я был особенно щептилен.

Стою на мостике. Волны обдают тебя сверху; промок до костей. Шторм.

Вряд ли кто из нас видел такой шторм больше разу.

Стою и думаю о великой опасности — и великой ответственности. И еще о том, что капитан, собственно говоря, не должен был бы так доверять своим штурманам. А горжусь — страшно горжусь, что мне так доверяют! Сережке не доверяют так!

И вдруг — поднимается ко мне на мостик белая фигура. Я испугался — скажу откровенно. Пассажирам строго воспрещено входить на мостик, даже в тихую погоду. Даже днем. А тут — такой шторм!

И как поднялась она? Мне казалось, что ее внесли наверх какие-то легкие крылья.

— Мара, сумасшедшая! Ты здесь! Зачем! Мара! Лоре-
лея!

— Я пришла к тебе.

И по тону ее я понял, *зачем* пришла ко мне Лоре-
лея!

— Я же на вахте. Я не смею оторваться ни на минуту...
Ни на миг! Мара, умоляю тебя — уходи! Я скажу матросу, чтобы он проводил тебя вниз.

— Так ты не любишь меня?

— Мара, я ведь на вахте, — в голосе моем прозвучало отчаяние. — Мара, уходи, умоляю тебя!

— Другой раз этого не будет. Пойми: или теперь — или

никогда!

Она подошла ко мне. Прижалась ко мне страстно всем своим трепещущим телом. Золотые волосы ее упали мне на плечо. Одна прядь обвилась вокруг моей руки. Ее уста искали моих губ.

Шум бури, грохот, гром...

В такую погоду является настроение: «Пропадать, так с музыкой! Черт побори все!»

А тут еще эти полубезумные ласки. Ведь, в конце концов, — живешь только раз! Шторм... И еще какой... Доживешь ли еще до следующего дня!

А она, в каком-то вакхическом самозабвении, шептала: — Коля... я же люблю тебя... я хочу быть твоей!

В сердце вонзились мне эти слова. Какой-то голос внутри меня шептал, заглушая все доводы рассудка:

«Не медли же! Бери свое счастье!»

Но был и другой голос — и он так же властно говорил:

«Вспомни, где ты! Вспомни, что на ответственности твоей — триста человеческих жизней! Ты — моряк! Не забывай свой долг!»

И шла дикая борьба между голосом долга и страсти... И голос долга становился все тише... тише...

На горизонте мигал красный огонек маяка. В моем отуманенном мозгу мелькнула на секунду мысль, как будто бы маяк, который должен открыться около двух часов, не совсем с той стороны. Но потом эта минутная мысль потонула в порыве страсти. Ах, до маяка ли тут! Я схватил Мару и увлек в каюту, где карты. Выключил свет...

Громадным зигзагом блеснула молния. Все море осветилось на миг лиловым блеском. Осветилось, чтобы снова потонуть во мраке... Удар грома смешался с хохотом бури...

Но в этот единый миг я увидел — увидел то, чего не забуду никогда! Увидел горевшие каким-то злым, сатанинским блеском глаза моей Мары! В лиловом сиянии мелькнула мне Лорелея... Злая русалка морской глубины... Сирена с золотыми волосами!

Как безумный, оттолкнул от себя я женщину, отдававшуюся мне с какой-то нездешней страстью... Выскочил из

каюты... бросился к рулевому...

Я не ошибся, что маяк показался мне не с той стороны! Проклятый штурвальный сильно сдал с курса. Я оттолкнул его и сам встал на штурвал.

Молния, молния, спасибо тебе! Спасительница молния!

Сменившись с вахты, я хотел посмотреть, что с Марой. Я не заметил совершенно, как ушла она с мостика. Я тихонько постучал к ней в каюту. Ответа не было.

«Спит», — с облегчением подумал я. Говорить сейчас с Марой было бы мне тяжело. Я пошел к себе и завалился на койку.

— Спать, спать!

Никогда не спал я так долго. Проснулся только за десять минут до вахты. Стоя на мостике, я все время посматривал, не покажется ли Мара. Но ее не было.

Ветер начал стихать. Из своих кают начали выползать бледные, зеленолицые пассажиры. Выглянуло солнышко. Некоторые стали прогуливаться по палубе. Оживились. От Лондона отделяли нас какие-нибудь двенадцать часов.

Если бы знали они, какой опасности подвергались ночью... Ведь пройди «Владимир» еще хоть полмили тем курсом, на который сбился рулевой — не осталось бы, может быть, ни одного пассажира. Мы шли прямехонько на рифы!

Но где же Мара?

Я долго стучался к ней, сменившись с вахты и, наконец, решился на крайнее средство. Вспомнил, что у меня есть запасные ключи от всех кают — я же ведал распределением пассажиров—и решил попробовать. Один подошел...

Мары в каюте не было.

Томимый тяжелым предчувствием, я стал искать ее всюду. Ее не было нигде...

Сомнений не оставалось...

Я должен был заявить, что видел ее вчера ночью на палубе. Но я не смел сказать «на мостике». Я не должен был

допускать туда пассажирку даже днем.

Капитан сам произвел расследование. Один из стюардов подтвердил, что видел ее «ночью большого шторма».

— Во втором часу я вышел из салона, где ужинали сменившиеся в 12 часов с вахты второй штурман и помощник машиниста. Я задержался там немного, убирая.

Мы все едва сдержали улыбку: знали отлично, что значило его «задержался». Всем было известно: если кто забудет в салоне хоть полстакана недопитого пива, про водку уж и говорить не приходится...

— Задержался в салоне... Ухожу и вижу, как открывает дверь каюты № 14 эта дама с золотыми волосами... красавица... Она вышла в коридор... я часто видал, что она выходит на палубу ночью, на рассвете... Она же не боялась качки... никогда не страдала морской болезнью... ходила, как настоящий моряк. Она остановилась в дверях. Вышла ли она на палубу? Не знаю, я ушел к себе...

Несчастный случай был занесен в судовой журнал на моей вахте...

Два месяца протекло с той роковой ночи.

Я снова открыл свой дневник и перечитал его. Сегодня я оставляю «Владимир». Мне тяжело оставаться на нем... Буду искать другого места. Домой еще не поеду, как ни зовет отец... Дневник я передам Сереже... Хочу, чтоб он попал когда-нибудь в руки Олечки. Не теперь. Сейчас ей не понять моих переживаний... Прочтет его, как занимательный рассказ... Может быть, поплачет...

Я написал ей давно. Общими фразами. Конечно, не упоминая ни словом о той, «другой».

Я никогда не любил Олечку... Это было только увлечение. Весеннее увлечение. Светлое, как сама весна... Милая, светлая Олечка... Не сердись... тебе еще встретится в жизни тот, кто сумеет тебя понять и оценить... Ты найдешь свое счастье. И, когда ты полюбишь, как следует, как взрослый

и вдумчивый человек — тогда ты поймешь меня.
Прости меня, Олечка! Я не любил тебя...
Я любил только одну женщину.
С золотыми волосами. С черною бездной души.
Губительную Лорелею...

Я иногда вижу ее во сне.
Придет ко мне, сядет рядом, смотрит на меня своим
маяющим взглядом.
И, кажется мне, шепчет:
— Ты — мой и не уйдешь от меня никуда!
И тогда я знаю, что наутро будет шторм...
Лорелея...
Загадочен ее туманный взгляд. Но нет в нем ненави-
сти. Нет в нем того сатанинского злорадства, что видел я в
нем, когда блеснула молния... Он таинственный и бездон-
ный..
— Ты простила мне свою смерть, Лорелея?
Смерть! Разве она умерла? Разве была смертным суще-
ством Лорелея?
Из глубин моря вышла она, чтобы манить и увлекать
суда к гибели...
Когда я буду читать о гибели судов со многими жерт-
вами — я буду видеть на палубе обреченного судна ее. Та-
кую, как в ту ночь...
Молния спасла наш пароход... Спасибо тебе, молния...
Перед бурей является мне всегда она. Роковая, губи-
тельная. Соблазнительная и маяющая... Увлекающая к гибе-
ли... В бурю слышу я ее хохот в снастях.
Лорелея... Лорелея...»

Страшная катастрофа в Северном море

Лондон, 5 марта. Во время последнего шторма у берегов Германии, в тумане, произошла большая катастрофа. Английский пароход «Ориент» столкнулся с германским «Лорелей» по вине последнего, не дававшего туманных сигналов. «Ориент», получивший пробоину, немедленно пошел ко дну. Так как «Ориент» потерял во время шторма одну из шлюпок, а «Лорелей», маленькое судно, не имело достаточного количества спасательных средств, спасти удалось немногих. Точное количество погибших пассажиров не выяснено, так как судовой журнал погиб. Полагают, что их было около 100 человек. Из команды погибли трое матросов и капитан Николай Савельев. Капитан «Лорелей» будет отдан под суд.

Эта короткая телеграмма бросила меня в целый омут воспоминаний.

Бедный Колька... Он был совсем недавно назначен капитаном «Ориента». Это я знал из его последнего письма...

Правы были они — цыган и цыганка, предсказавшие ему гибель от белой женщины с золотыми волосами. Несколько недель спустя увидел я в Гамбурге это злополучное судно. Золотыми буквами на носу этого маленького парохода было написано «Loreley». А на носу гальциона: белая женщина с позолоченными волосами.

Да, Колька... Тебя погубила Лорелея...

И погиб он ровно через двенадцать лет после того, как говорила с ним цыганка.

А двенадцать лет — это сто сорок четыре луны...



ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС КАПИТАНА БРАУНА

Четыре года не проводил я своего отпуска в В., где привык бывать ежегодно. Нет лучше места для того, кто хочет отдохнуть или заняться серьезным трудом, чем В. Море, лес, тишина. И покой, покой...

Все осталось по-старому — те же дома, те же жители. Новое увидел я только на морском берегу. Отойдя версты три к северо-востоку, наткнулся я в море, у самого берега — на врак. Старенькая шхуна. Уткнулась кормой в самый берег. На корме тусклая, полустертая надпись: «Амур».

Я стал расспрашивать, когда это случилось.

— Три года тому назад, в октябре, — ответил мне как-то неохотно полицейский, с которым мы были приятели.

— Кто-нибудь погиб?

— Вся команда. Спаслось только двое. Была страшная буря. Трупы потом были выброшены на берет. Там, немного дальше. Около Белой горки. Знаете ведь ее? Там и положили их. Тринадцать человек. Как бревна, лежали они там, около горки. Потом увезли хоронить.

— Что вы говорите? Значит, на таком маленьком суденышке было пятнадцать человек команды? Да не может быть!

— В том-то и дело, что не все были матросами. Откуда взялись эти посторонние — спасенные матросы не могли сказать. Капитан сказал, что взял с собой нескольких пассажиров. А я думаю, что тут была контрабанда. Хотя, конечно, груз погиб, доказать ничего невозможно... да и к чему? Капитан погиб, не с кого и спрашивать...

— А никто не думал спасти судно? То есть взять его, чтобы не гнило оно тут вконец? Там и такелаж еще. Разве нет у него хозяина?

— Хозяином его и был сам капитан Браун. А он погиб.

— Значит, и его труп выбросило море?

— Нет. Когда прибило к берегу «Амур», мы осматривали, не остался ли там кто. Матросы говорили, что Браун ни за что не хотел покидать судно. Вы знаете, у них, моряков, так принято — капитан покидает судно последним.

— Но все-таки, я не могу понять этого. Судно погибает вблизи берега. Все тонут. Ведь моряки же должны уметь плавать!

Мои слова показались, наверное, полицейскому наивными.

— Если бы вы знали, какая буря свирепствовала в ту ночь! И он переменял разговор.

В В. так хорошо, что, раз приедешь туда — не хочется уезжать. Отпуск мой окончился в сентябре, но я остался до половины октября.

Вечером 8-го октября — помню отлично это число, день рождения покойной мамочки — вышел я побродить. Солнце уже зашло. Стояли какие-то бледные сумерки. Какие-то запоздавшие рыбаки тянули свои сети. Старший, седобородый, торопил остальных:

— Скорее, черт вас дери! — кричал старик на молодого парня, очевидно, своего сына. — Скоро совсем стемнеет!

— Ну, какая беда! — отозвался тот.

— Забыл, что ли: сегодня 8-е октября!

Слова эти произвели на молодого магическое действие. Он заторопился.

Не знаю, почему я думал об этих непонятных мне словах, когда шел дальше.

Стемнело. По небу, закрывая звезды, бежали тучи. Что-то унылое было во всем окружающем. На берегу было пусто. Редко кого встретишь здесь вечером. Да, летом, когда живут дачники, принято ходить «смотреть заход солнца». Это же принято у всех дачников мира. Иные, особенно парочки, остаются и дольше, прогуливаясь вдоль моря лунными и звездными вечерами. Но осенью — никого. Поэтому мне показалось странным, что впереди маячила какая-то фигура. Очертания ее скрадывались туманом. А, может быть, это вовсе и не человек был — один из тех знаков, что попадают здесь, на берегу: палка с каким-то веником на-

верху. Нет, движется. Значит — человек. Я нагнал его около «Амура». В августе были сильные дожди, и судно почти все под водою. Дощечка с надписью давно уже исчезла. Может быть, сорвало ее ветром или содрал кто-нибудь — так, неизвестно зачем.

Что это? Я ошибаюсь? Дощечка на месте... И буквы как-то необычайно яркие... Но дощечки же не было? Или была?

Я рассмотрел человека впереди. По одежде и походке — моряк. Теперь он остановился и устремил свой взгляд в море. А может быть, на «Амур». Он был молод. Лет тридцати.

— Три года, три года... А сколько лет еще? — в голосе моряка прозвучала какая-то необычайная грусть. — Вы были здесь три года тому назад? — обратился он совсем неожиданно ко мне.

— Когда погиб «Амур»? Нет... Я был тогда за границей... А вы хотели бы знать что-нибудь о его гибели?

— О гибели «Амура» я могу рассказать вам сам... Я вам расскажу. Я — капитан этого судна, Браун.

Я удивился. Ведь полицейский уверял меня, что капитан погиб... Правда, труп его не нашли, но среди спасенных его также не было... Значит, он все-таки жив?

— Так вы хотите знать, как погиб «Амур»? — спросил капитан еще раз. Я кивнул. Он резко повернулся и мы пошли дальше. К северо-востоку.

— Это длинная история, — начал капитан Браун. — Начну с того... ну, начну с отца. Отец мой был истый моряк. Преданный морю, любящий его больше всего в мире... Я был у него один, и он воспитал меня таким, каким был сам. Еще совсем малышом я уже мечтал о том, что буду моряком, «как папа».

Отец был капитаном. Плавал на разных больших судах. Но у него была одна тайная мечта. С двадцатилетнего возраста начал мечтать он, чтобы стать капитаном собственного судна, хотя бы и малюсенького... Когда умерла мама, он взял меня к себе на судно. Сам готовил меня там к поступлению в школу. Потом, когда учился в мореходке, я плавал с отцом все вакации...

Я много не стоил отцу. Сам же он был удивительно скромн в своих требованиях. Он не пил — то есть не пьянствовал, не играл в карты, вообще тратил свои деньги только на самое необходимое. Отец приучал и меня к бережливости... Я: считал его — как и многие — скупым. Я же не знал, что каждый заработанный грош он откладывает. Откладывает, чтобы приобрести свое суденышко...

Отец мой погиб, как истый моряк — утонул во время бури. Я был очень удивлен, что он оставил мне у адвоката завещание. Оно было составлено года за четыре до его смерти.

— «Если Господу не будет угодно, чтобы я дожил до исполнения своей мечты, то доживешь ты. Много лет копил я, откладывал весь свой заработок, лелея свою мечту... И вот, наконец, мне показалось, что у меня достаточно. Я стал наводить справки, где я мог бы купить суденышко. Это было в июне 1914 года...

Ты поймешь, что мечта моя не могла осуществиться... Да и хорошо, что я не купил судно в последние недели перед войной. Все равно оно бы пропало...

Окончилась война. И, когда, после заключения мира, я подсчитал свои деньги, остававшиеся все время нетронутыми — оказалось, что на них теперь не купишь ничего, кроме какой-нибудь жалкой шлюпочки... И снова я стал копить и копить, отказывая себе во всем... Меня считали страшно скупым... Ведь они же не знали, на что я коплю!

Теперь все так дорого... а зарабатываешь так мало... Бог знает, сколько лет пройдет еще, прежде чем наберется нужная сумма. Может быть, я и не доживу. Тогда продолжай ты. Я знаю, что это и твоя мечта. Ты — настоящий моряк. Я мечтал подарить тебе судно, когда ты станешь совершеннолет-

ним. Потом, когда выдержишь экзамен на штурмана... на капитана... Но вот, не вышло...

Но ты добьешься своего!

Покупай надежное парусное судно. Только парусное, без всяких там моторов. Это гораздо дороже... И потом не то! Настоящий моряк не может любить моторов, пара... Только на парусном судне настоящая поэзия моря!

И, когда ты, мальчик, ступишь в первый раз на палубу своего, своего собственного, — судна, я пошлю тебе “оттуда” свое благословение...»

Я был очень привязан к своему отцу. Смерть его сильно повлияла на меня. Ведь у меня больше никого не было. Два года проплавал я еще. Был в дальнем плавании. Потом, вернувшись в Ригу, пошел к адвокату. Я хотел знать, сколько денег оставил мне покойный отец. До тех пор я не справлялся. Оказалось, что деньги, положенные отцом в английский государственный банк, несли проценты, и, если я прибавлю деньги, скопленные мною за два года — не хватает немногого, чтобы осуществилась моя мечта — мечта моего отца!

Еще два года плавания, твердого отказа от всего, что дают чужие города... Товарищи подсмеивались надо мной, считали меня чудаком... Они же не знали о моей мечте!

И вот, три года тому назад, у меня была нужная сумма!

Во всех больших портах начал справляться я, кто хочет продать... И вот, в Либаве один разорившийся предприниматель предложил мне купить свою шхуну «Церера»... Я купил ее — и даже дешевле, чем предполагал!

Отец завещал мне: «Покупай надежное». Я не исполнил его совета. Судно нельзя было назвать надежным. Впрочем, что же нужно для каботажного плавания?

Много надо было переделать на нем... Ну, всего нельзя было сделать сразу... Ремонт поглотил остатки моего капи-

тала. Я сделал даже — первый раз в жизни — долги... И вот, чтобы погасить их, я совершил поступок... Его можно, конечно, назвать бесчестным, хотя, вернее — незаконным. Я согласился провезти четырех пассажиров, хотя знал наверное, что они везут контрабанду... В Эстонию.. Они обещали хорошо заплатить... А векселя ведь не ждут... И еще второе... Принимая пассажиров, я должен был позаботиться об их безопасности. А что у нас было? Одна жалкая шлюпочка, ветхая, ненадежная, мало спасательных кругов, а пояса какие-то дрянные... Когда мы вышли, ничто не предвещало бури. Она налетела как то внезапно...

И еще я сделал то, чего никогда не простил бы мне покойный отец: переименовал название судна.

Каждый моряк знает, что нельзя, нельзя делать этого! На верную гибель обречен корабль, меняющий свое имя!

Мне не нравилось «Церера». Ну, к чему мне Церера — богиня крестьян? Я — моряк. Подумал о «Нептуне». Но потом осенило меня: «Амур»! Амур — это любовь. А моя любовь — море... Кроме моря, я не любил никого.

И в роковую минуту назвал я свое судно «Амур».

«Он погиб в непроглядную, бурную ночь...» И в эту страшную ночь понял я, какое преступление совершил, не позаботясь в достаточной мере о спасательных средствах. Шлюпка дала течь. Пояса никуда не годились. Спасательных кругов было только три... Девять матросов и четыре спекулянта нашли смерть в морских волнах... и вблизи берега!

Мы дошли уже почти до Белой горки. Так называют в В. высокую дюну, отошедшую как-то вглубь. Очень высокая, она видна издали. Со стороны моря вырос на ней густой лес, на других склонах растительности нет. И светится она далеко, даже в темноте, своим белым песком.

— Здесь, — сказал капитан, — лежали они... все тринадцать... Выбросило их море... люди взяли... предали христианскому погребению...

Мне показалось, что в голосе капитана проскользнула какая-то завистливая нотка...

Он остановился, снял шапку и погрузился в молитву. Я молча последовал его примеру. Окончив молитву, капитан

преклонил на минуту колени, потом быстро пошел назад. Я следовал за ним.

— Погибли вблизи берега, — повторил капитан. — Я понял, что они не спасутся. О, что я испытал в ту ночь, когда гибло мое судно, мой «Амур», моя любовь! Что осталось мне еще в жизни? Отец копил всю жизнь, отказывая себе во всем... Он жил этой мечтой... я тоже... И вот... в первый же рейс... Я посмотрел еще раз на море... мое море, которое я одно любил в жизни... Оно захлестнуло шлюпку, давшую течь... Люди в темноте боролись в волнах за свою жизнь. Я знал, что напрасно... А берег был так недалеко... Бушевало море в полной тьме. Высокие волны перебегали по палубе, унося наш «Амур», потерявший руль, к неведомой цели. Посмотрел на море в последний раз. Потом вошел в свою каюту. Запер за собой дверь. Открыл иллюминатор и выбросил ключ... Волны хлынули в каюту, холодные... соленые...

Капитан замолк. Я не решался прервать его молчания — до того жуток был его странный рассказ: «Закрыв дверь каюты. Волны хлынули в окно». Но как же он спасся? Почему никто не знает о его спасении? Как он идет здесь, рядом со мной?

Тучи скрыли последние звезды. Ночь стояла совсем черная. Только там, на юго-западе, вспыхивал лентой проблесковый огонь маяка.

Внезапно в темном море еще огни. Огни проходящего судна: зеленый, красный... Куда оно идет? Я знал, что там, на горизонте, иногда видны проходящие буксирики, которые тащат плоты. Но откуда взяться буксиру ночью? И потом... Нет, ведь пароходы несут три огня — белый, зеленый и красный — а два — парусники! Значит, какой-то парусник в море. И держит курс прямо к берегу! Зачем? Ведь здесь же мелко? Куда он? Куда?

Я хотел спросить капитана — не мог. Он также не сводил глаз с этих внезапно появившихся огней... И теперь мне показалось, что огни — вовсе не двигаются... Да, да, они на месте... У самого берега... Но ведь стоящее на якоре судно не несет никаких огней, кроме белого... Как же... И внезапно я понял:

Огни были зажжены на «Амуре»!

Мы подходили. «Амур» стоял к берегу не кормой. Стоял носом, и жутко горели на нем отличительные огни...

Каких-нибудь сто шагов отделяли нас от «Амура», когда судно начало медленно поворачиваться. Теперь оно стояло к берегу бакбортom. Горел только один красный бортовой огонь. Жуткий кровавый глаз...

— Красный!! — с ужасом воскликнул капитан. — Три года прошло... Значит — еще и еще!!

Такая тоска, такой нечеловеческий ужас звучал в голосе капитана, что мучительно-жуткое чувство пронзило меня насквозь.

Он пошел вперед. Просто бежал. Как будто бы хотел уйти от красного глаза. Но не поравнялись мы еще с «Амуром», как огонь как-то сверкнул, как бывает с выгорающей электрической лампочкой — и погас. «Амур» лежал перед нами мрачный, забытый... К берегу кормой... И дощечки не было видно в темноте...

Неужели мы бродили с капитаном всю ночь? — Там, за лесом, светлело...

— Не забудьте, что я остался в каюте! — как-то странно сказал капитан. — Не забудьте!

Я оглянулся в последний раз на темные очертания «Амура»... Да, но где же капитан?

Его не было ни около меня, ни впереди, ни сзади. Пустым лежал предо мной берег в свете занимающегося дня.

Тихо плескались волны.

— «Не забудьте, что я остался в каюте», — целый день не давали мне покоя эти слова.

Я не знаю, я не хочу знать, что мне думать о вчерашней ночи. Я не хочу думать о ней, но иду к «Амуру». Зачем?

— «Не забудьте, что я остался в каюте»!

Сегодня море бурно. В полдень налетела северная буря, и все продолжает усиливаться. Северная, холодная. И все же, подойдя к «Амуру», я почувствовал, что взойду на судно. На мне высокие сапоги и дождевой плащ. Я должен увидеть каюту капитана Брауна. Должен!!

Но волны были так высоки, так сбивали с ног, что я не

был в состоянии добраться до палубы. А если даже и доберусь — как попаду в каюту, когда внутри вода? Волны толкали меня прочь, волны гнали меня от мертвого судна...

Не пускали меня на «Амур»!

Следующее лето я не жил в В. В апреле я тяжело заболел, два месяца пролежал в больнице, а потом доктора послали меня еще в санаторию. Но как же мог я хоть один год не побывать в В.? Ну, хоть бы несколько недель! Я поехал туда в конце сентября.

Я давно не был в лесу. То, что было около санатории, с трудом можно было назвать лесом. Да там мне и не разрешали много гулять. Поэтому, отправляясь в В., я вылез одной остановкой раньше и пошел дальше пешком. С версту через деревню, потом мимо кладбища, потом — лес. И дальше вся дорога лесом...

Живописное кладбище, расположенное на горе. С него — чудесный вид: на реку, на море. Здесь спят вечным сном старые моряки, прошедшие остаток дней своих на суше. Из последнего дома их видно море... Многие, многие моряки родом из этой деревни.

Весной превращается кладбище в рощу цветущей сирени. Летом утопает в цветах. Одна могилка спорит с другой красотой своего убранства.

Давно не был я здесь. Зашел пройтись по тихим дорожкам, посидеть на скамеечке — отвык ходить после тяжелой болезни. Красиво здесь даже в сентябре; на всех могилах — астры и настурции, всех цветов: желтые, алые, красные, вишневого цвета. И среди этих украшенных могил, ближе к забору — одна... Ни цветочка, ни венка. Только один — на простом деревянном кресте — дешевый, засохший... А могилка — совсем свежая... Видно, что похоронили недавно. Я подошел ближе к простому, некрашеному кресту. Кто покоится здесь, забытый всеми?

Капитан шхуны «Амур»
Александр Браун.
Род. 5 мая 1897, сконч. 8 октября 1930 г.

Я остановился, пораженный.

Когда же и кто его похоронил? Почему никто мне не говорил об этом? И похоронен-то он как — у самой ограды, как в прежнее время хоронили самоубийц! Я долго смотрел на заброшенную могилу, потом сотворил молитву и пошел задумчиво дальше.

Дня через два, уже в В., я зашел к своему приятелю, полицейскому, и завел разговор про капитана Брауна.

— Это такая история, — сказал он, и я заметил, что разговор был ему не особенно приятен. — С месяц назад, а может быть, меньше — недели три — приехали сюда два моряка. Они справлялись, как и где погиб «Амур» и захотели его осмотреть, выяснить, нельзя ли еще что-нибудь спасти.

— Мы — товарищи покойного Брауна, — сказали они, — вместе с ним учились, встречались и потом. Хочется посмотреть, нельзя ли еще что-нибудь сделать с судном.

Четыре года никто не справлялся о нем, никто не интересовался... А судно портилось и портилось... Если нельзя ничего спасти — пусть возьмут хоть на дрова. Я позволил им осмотреть. Было воскресенье. Я был свободен. Погода прекрасная, совсем не осенняя. Я пошел с ними. Несколько дней дул сильный юго-восточный ветер. Море отошло. «Амур» стоял почти на суше. Они поднялись на палубу, тщательно осмотрели все, потом вошли и в каюту. Вход в нее был открыт — видно, дверь выломана давно. В глубине каюты была еще еле заметная дверь, засыпанная песком — очевидно, когда «Амур» бывал покрыт водою.

— Войдем и туда — смотреть, так смотреть.

Дверь была заперта, но была так ветха, что поддалась их

усилиям. Они вошли. А когда вышли — один из них был страшно бледен, другой — серьезен.

— Войдите сюда, — сказал серьезный, а бледный прибавил:

— Как хорошо, что полиция с нами!

В каюте лежал труп — вернее — скелет в отрепьях... Если можно было еще сомневаться, что это — капитан, то обыск в карманах полуистлевшей одежды уничтожил последние сомнения. В кармане был паспорт и записки. Он покончил самоубийством.

— Но скажите, как же труп пролежал там целых четыре года? Неужели, когда море выбросило этот врак, не посмотрели, не осталось ли еще кого-нибудь на судне?

— Конечно, смотрели... Каюта не имела дверей, а что там, в глубине, еще каюта, мы даже не предполагали! Думали, так, какое-нибудь помещение, где хранят паруса или тросы... или просто кладовая... Дверца была заперта... Какое мы имели право ломать ее? Как могли мы предполагать...

Он запер каюту и покончил с собой. Как — этого, конечно, теперь установить уже было невозможно... Так и пролежал бедный капитан Браун в каюте четыре года без христианского погребения...

Полицейский замолчал.

— Ну, скажите, а на кладбище его похоронили как следует? Отпевали, то есть?

— У нас, лютеран, никому не отказывают в христианском погребении, — с достоинством ответил полицейский, — мы же не католики!

Дня три шел проливной дождь. Я сидел в своей комнате и злился. А потом началась буря. Деревья скрипели и плакали. Море выло. Ветер дул с юго-востока. Я не рискнул выходить на берег.

На следующий день к вечеру шторм немного стих. Я шел к «Амуру». Я не мог себе отказать в этом — было 8-е

октября!

Идти было трудно. Ветер, буквально, сбивал меня с ног, гнал в воду. По небу мчались, в какой-то бешеной пляске, облака, открывая на миг то одно, то другое созвездие. Тысяча голосов сливалась в этой буре. Кто-то стонал, плакал, выл... И невыносимо жуткое ожидание чего-то было и в этой тьме, и в голосах бури...

Я не удивился ничуть, что капитан Браун стоял против «Амура». Я ждал его.

— Пойдем, — сказал он. И мы пошли к северо-востоку.

Молчали. Мне казалось, что он ждет чего-то. Поэтому я стал рассказывать, как в прошлом году я хотел попасть на «Амур» и как меня не пустило море.

— Еще время не вышло, — сказал капитан. Потом мы опять молчали.

Опять шли мы к тому месту, где лежали трупы погибших. И снова капитан погрузился в молитву. Он молился долго. Потом быстро обернулся к морю. Я знал, чего он ждал. Я ждал того же. На «Амуре» горели уже огни...

— Идем, идем! — торопил меня капитан, и мы шли, хотя ветер гнал нас в сторону.

Мы были уже близко, когда порыв ветра дернул «Амур». И — свершилось!

Красный огонь погас в темноте, и ярко и победно загорелся зеленый!

— «Боже, услышал Ты наши молитвы!» — прошептал слова морской песни капитан. — Боже, Боже, благодарю Тебя! Зеленый!!

И в голосе капитана слышался такой восторг, такая радость. Что-то такое, что слышишь в голосе глубоко верующих иереев, когда они говорят народу в Светлую ночь:

— Христос Воскресе!

Мы подошли к «Амуру». Капитан обернулся ко мне. Глаза его сияли. Лицо дышало каким-то благоговейным миром.

Кивнул мне, как бы прощаясь. Потом взошел на палубу. Положил руку на штурвал. Какие-то легкие паруса спустились, как облака, на согнутые мачты. И «Амур», управляемый своим капитаном, понесся, подгоняемый боковым ветром.

И долго еще видел я на горизонте удаляющийся, — казалось, поднимающийся все выше — зеленый огонь.

Море шумело. Над морем и лесом носились какие-то голоса.

Капитан Браун летел в свое последнее плавание...

Д♀ΨХ♂т♂mp

ВТОРОЙ ПО БЛЕСКУ

Jupiter — judex justus.

Над морем туман.

Не только вода — дюны, лес, весь берег тонут в его густой пелене.

Словно молоко разлито по всему миру.

Нельзя понять — утро, вечер, день. Вообще нет времени.

Только один молочно-белый туман.

И во мгле этой доносятся с моря какие-то звуки. Гудки. Это пароход борется с туманом. И еще один звук, словно звон отдаленной кладбищенской церкви. Звук этот хорошо знаком обитателям побережья. Это гудит буй-ревун, сторожащий вход в Двину. Красный буй с толстой головкой. Карлик-головастик.

Мне кажется, я и сам ухожу в какой то туманный мир, скоро сам растворюсь, превращусь в туманный образ...

Может быть, в лесу нет такого тумана? Сворачиваю на узкую дорожку, ведущую в дюны. Ничего не видно, кроме дорожки под ногами. Потом выступает из тумана какая-то хижина. Таких много на берегу — рыбаки держат в них свои снаряды. Обнесена она длинными шестами, на которых развешивают для просушки невода. Хижина остается в тумане. Впереди вырисовываются теперь две корявые сосенки. Одна слева, другая впереди, высовывая из туманной пелены свои костлявые ветви-руки. И что-то жуткое в очертаниях этих черных деревьев, призрачно выступивших из тумана и вновь проглоченных им.

Дорога, превратившись в тропинку, идет вниз. Там туман гуще и белее. Наверное — болото. Я повернул обратно.

Туман все гуще. Солнце, очевидно, уже зашло. Разве разберешь? Снова вынырнули из тумана корявые сосны. Хижи-на.

И вдруг, словно обгоняя меня, пронесся протяжный вой. Он родился где-то в лесу и унесся к морю. Я прислушался. И снова коснулся моего слуха этот странный звук. Что это? Животное? Птица? — Нет — это человеческий голос — стонущий и протяжный...

Я постоял еще немного. Что-то жуткое было в этом звуке. Но он больше не повторялся.

Ну, да ведь там, за лесом, есть рыбацьи поселки... Когда ветер с той стороны, доносятся к морю собачий лай и петушиный крик.

А все-таки было жутко!



Яркое солнце ворвалось с восходом ко мне в комнату и решило обосноваться там на целый день: два у меня окна — на восток и на юг.

Я быстро вскочил с постели. Бог знает, сколько осталось еще таких дней: ведь сентябрь на исходе. Я взял краски и пошел туда, куда не пустила меня вчера молочная завеса. Сегодня нет и следа вчерашнего тумана. Так ясно, воздух так прозрачен, что не верится как-то вообще, что может быть такая мгла, как вчера.

«Золотая осень» — будет называться задуманная мной картина. Да, осень действительно золотая в лиственном лесу. Впрочем, это не лес, это — лиственный оазис в сосновом бору. Идешь по дюнам, густо заросшим брусникой, — много грибов здесь под осень — и вдруг натыкаешься на котловину. Между высоких дюн спряталась она. Глубоко внизу. Пересекают ее по всем направлениям тропинки. Посредине — жуткие окна. Наверху — сосны, только сосны, а там, внизу — березки, шиповник, барбарис. Ландыши и земляника.

Хорошо здесь весной. Но и осенью красиво. Бросила

осень золото на березки и барбарис. И сверкает оно, это золото, под лучами осеннего холодного солнца.

Жутко здесь внизу. Не потому ли, что между дюн тянутся старые окопы, заросшие брусникой и мхом? Нет, не потому. Боев здесь не происходило. Здесь не хоронили никого. Были просто позиции.

Я выбрал хорошее место — каземат, на который легла сломанная бурей березка. Ниже — барбарисовые кусты, протянувшие свои ветки над болотной водой. Устроился и стал писать, слушая шорохи леса. И почему-то казались они мне в этот осенний, осиянный солнцем, день какими-то совсем, совсем чужими. Повсюду вокруг меня звучали эти незнакомые голоса.

О чем говорили они — я не знал, но о чем-то очень жутком.

Я рисовал эту рощу с жуткими голосами долго-долго. Придя домой, стал тщательно рассматривать свой эскиз. Настроение — по крайней мере, мне так казалось — удалось схватить. И все же для этого жуткого места как будто идет больше серый безотрадный день. Да, но ведь я хотел назвать свою картину «Золотая осень»? — Нет, серый день все же лучше. Пойду, взгляну на рощицу в первое ненастье.

Целый день был так же прекрасен, как много обещавшее утро. И, когда в небе зажглись Божии лампы, я решил прогуляться в рощу еще раз. Не знаю, почему меня снова тянуло в это место, увековеченное моей кистью. Мне захотелось посмотреть на него вечером. Пришло в голову, что там должно быть хорошо при луне.

Да есть ли у нас сейчас луна? Я посмотрел в календарь. Восход на сегодняшний день указан на 11.30. Последняя четверть. Я шел очень медленно. Да разве можно идти быстро в такую ночь, не останавливаясь, не смотреть на звезды, отражающиеся в тихом морском лоне?

Сколько звезд, сколько звезд! Я не понимаю в звездах почти ничего. Знаю, есть там какие-то созвездия, но никогда не интересовался их именами.

Я художник. Могу передать на картине красоту звездного неба — но какое мне дело до названий звезд, усеи-

вающих его! Так же, как мне нет дела до названий цветов, запечатленных на полотне моей кистью.

Но все-таки, я не совсем неграмотен в звездном небе. Знаю Большую Медведицу, Млечный Путь и еще одно созвездие. Вот названия его я не запомнил — большая буква «М», растянутая на небе.

Семнадцатилетним гимназистом, влюбленный в Лидочку Петрову, гулял я как-то с ней по пляжу. Она показала мне это созвездие.

— Посмотри, Мишенька, видишь там, над морем, большую букву «М»? Господи, какой ты бестолковый! Ну, видишь? Эго твоя буква — «М»!

— А как называется это созвездие?

— «Миша». Созвездие «Миша»! Твое созвездие, твое!

Она залилась звонким смехом.

— И, когда ты увидишь это созвездие, ты будешь вспоминать меня. Да? Да?

Я ответил ей красноречивым поцелуем.

Созвездие «Миша»!

Их было так бесконечно много над моей головой. Не знаю названий их и не хочу знать. Для меня их имя одно — Красота!

Какая-то громадная звезда вынырнула внезапно из-за деревьев. Поднялась, белая, ослепительная, и стала прямо над лесом.

И что-то необычайно величавое было во всем блеске этой звезды, словно кто-то властный и неумолимый смотрел оттуда, сверху, в мир ничтожных людей.

Я видел когда-то такую звезду на рассвете. Смотрела прямо в окно. Нет, это было не то светило. Утренняя звезда. У нее было другое выражение.

Да, да. Я ведь художник. Я имею право говорить о «выражении» звезды. У той, утренней, было что-то благостное, умиротворяющее. И волнующее в то же время.

А эта — такая холодная, бесстрастная, как неумолимый повелитель, которому должны повиноваться рабски все.

Я свернул на знакомую дорожку. Мимо хижины. Мимо двух сосен, протянувших свои костлявые руки. Сегодня они не казались такими жуткими. Ничего жуткого не было в них этой звездной ночью.

Звездное небо было над рощей. И над всем царила одна, белая, ослепительная, властная, повелительная звезда.

— А, ты еще в постели? В такое чудное утро? Узнаю моего Мишутку! Даже в такой чудный солнечный день валяется он, Бог знает до которого часа, в постели! Неужели кутнул вчера? Где? Был в городе?

— Какое там кутнул. Работал до поздней ночи.

— Работал? — вопрос прозвучал недоверчиво.

— Гуляя днем, я набросал эскиз. Потом тщательно обдумывал детали. А вечером пошел посмотреть, как там при лунном свете.

Я хотел рассказать ему идею моего нового полотна, но Федя перебил меня.

— Подожди, об этом после. Я же знаю — когда ты начнешь говорить о своей картине, это продолжается всегда долго. А я ведь приехал к тебе не один. Угадай, кто со мной? Не можешь? Ах, ты! Воспользовавшись последним, может быть, теплым днем, приехали со мной: Зиночка с мужем, Надя.

Имя это, как и ожидал Федор, произвело на меня магическое действие. Я живо вскочил с постели и стал одеваться: Надя была моя очередная любовь. Она была очень красива. Да разве может любить художник женщину, в которой нет красоты?

Мне казалось иногда, что Надя меня все-таки не любит. Не то что бы я подозревал, что она играет мною — я никогда не замечал ничего такого, что могло бы возбудить во мне ревность, в ее отношении к другим мужчинам. Но все-

таки я чувствовал, что в наших отношениях было что-то не то.

Мне страшно хотелось поговорить с ней. Может быть, сегодня представится случай?

Они ждали нас в саду и очень смеялись, что я спал так долго. Кроме тех, кого называл мне Федька, с ними была еще Олюся. Никто никогда не называл — да и не мог бы назвать иначе — миниатюрную девушку с золотистыми (говорю так, чтобы она не обиделась — они-то были попросту рыжими) волосами. Ужасно веселая, живая, она вертелась как на пружинке. Ни минуты, как птица, не могла она посидеть на месте, хохотала из-за всякого пустяка, искала у каждого смешных сторон. Многие мужчины, знаю, были от нее без ума. Но Олюся совсем не в моем вкусе. Сегодня ее присутствие просто раздражало меня. Я знал — раз она с нами — не удастся побыть с Надей наедине ни минуты. Это портило мое благодушное настроение. Я должен был взять себя в руки, чтобы любезно принимать гостей.

Они отказались от чая, желая закусить в лесу. Предложили взять с собой какой-нибудь чайник и там же «на лоне природы» вскипятить чай.

— Чай для дам, — сказал Федя, — для нас есть, конечно, нечто посущественнее.

— А чай будем кипятить на костре! На костре! — кричала Олюся.

Я с трудом уговорил ее взять с собой спиртовку — чего там возиться с костром, ветки теперь сырые, последнюю неделю было ненастье. Только второй день солнышко. Олюся немного надулась. Она привыкла, чтобы все ее капризы, как бы они нелепы ни были, исполнялись беспрекословно.

В лесу было скучно. Олюся носилась, как собачонка, не давая мне сказать Наде ни слова, мешая даже моему разговору с Федей. Мы сделали привал в моей роще, Олюся убежала зачем-то к морю, и я этому несказанно обрадовался.

Но оставить моих гостей и отойти с Надей было неудобно. Да и Надя не согласилась бы. Она очень щепетильно держалась различных мещанских условностей.

Пользуясь отсутствием Олюси, я хотел было подсесть к Наде, но помешала Зиновка: она стала ей что-то рассказывать — нудно и пространно. Я сел около Феди, который взялся смотреть за чайником.

— Ну, Мишка, теперь можешь рассказать о своей новой картине.

Я достал свой блокнот, где был карандашный набросок, и стал объяснять.

Надя подошла и нагнулась через мое плечо.

— Ах, это здесь, — узнала она, — ну, а в каком освещении вы думаете это написать? В таком солнечном?

— Нет, у меня другая мысль. Я хочу написать при вечернем. — И я стал знакомить их со своей идеей. Они слушали внимательно. Что Зиновка не понимает ничего, было для меня аксиомой — да это было мне безразлично. Я знал, что Федя понимает. Знал, что Надя интересуется моим творчеством и понимает его. Я советовался с ней не раз, еще перед тем, как картина бывала закончена.

— Так, говоришь, большая звезда стояла здесь, над рощей? После одиннадцати? Что здесь (Федя оглянулся на солнце) — юго-восток? Да, конечно. Значит, это был Юпитер... Около полуночи он должен быть именно здесь. — Он ткнул пальцем куда то между ветвей. — Он восходит после одиннадцати.

— Пальцем в небо, пальцем в небо! — раздался за спиной его насмешливый голос.

«Уже! — с досадой подумал я. — Не могла остаться у моря подольше». — Но, взяв себя в руки, я сказал любезно:

— Чай поспел, Олюся.

— Отлично, я очень хочу пить! Жажду! Жажду!

— Олюся, помоги мне хозяйничать! — сказала Зиновка, разливая чай.

— Значит, ты хочешь, чтобы в центре картины был Юпитер, а не луна, как предполагал сначала? — спросил Федя.

— Значит, это Юпитер... — словно только сейчас услы-

шал я Федины слова. — В блеске его было что-то такое властное... Таким и должен быть верховный бог. Скажи, это самое яркое светило?

Федя посмотрел на меня с некоторым снисходительным сожалением. Он еще на школьной скамье интересовался звездным небом, а теперь занялся астрономией серьезно: завел себе подзорную трубу, карты, производил какие-то наблюдения, проводя вечера по чердаке, где были окна на все четыре стороны.

— Иногда астрономы-любители делают очень ценные открытия. — любил говорить он и всегда очень возмущался, что я не интересуюсь звездным небом, то есть не интересуюсь в той плоскости, как он.

— Юпитер, милый мой, хотя и носит наименование верховного бога, но все же он не главный в царстве планет. Первая, самая яркая — божественная Венера, то, что ты назвал «утренняя звезда», хотя бывает и вечерней. Юпитер — второй по блеску.

И опять подбежала Олюся, и опять перебила наш разговор.

Я был искренне рад, когда они стали собираться к отъезду. Они решили ехать не последним пароходом, а предпоследним. Зиновья очень боялась ехать по реке, когда темно. Я не стал их задерживать. Все-таки я успел шепнуть Наде:

— Когда же ты приедешь ко мне? Ведь мы не видались так давно!

Надя на минутку задумалась.

— Хочешь, я отстану от них и вернусь сюда? Дорогу найду, не бойся... Ты их проводишь и приедешь ко мне. Ведь еще один пароходик пойдет?

Это было похоже на Надю. При всех она стесняется говорить со мною, а когда уедут...

Она придет ко мне.

И останется до утра.

Не в первый раз это будет...

Надя предложила Олюсе собирать грибы, и Олюся согласилась с восторгом. Они разбежались в разные стороны. Было уже не очень рано и к пароходику шел народ. Нади хватились только на пристани. Олюся заволновалась и хотела бежать снова в лес.

— Идите на пароход, Олюся, — сказал я, — слышите: второй свисток. А Надя, я уверен, сидит где-нибудь в каюте второго класса. Вы же видите, как много там народа.

На мое счастье, сегодня приезжала какая-то экскурсия, так что пароходик, действительно, был переполнен.

— А если ее нет на пароходе? — спросила Зиночка.

— Я подожду здесь — ведь идет еще один пароход, и я ее благополучно доставлю, не беспокойтесь. Но я видел, что она шла на пароход впереди нас; разве вы не видели? Она шла лесом, не по мосткам...

— Тогда и я останусь! — крикнула Олюся.

«Вот не было печали!» — подумал я.

Олюся опять выскочила на пристань. Я подошел к капитану.

— Идите скорей на пароход, Олюся: капитан сейчас сказал мне, что больше парохода не будет, — нагло врал я, — идите скорей!

— А если Надя?

— Говорю же вам — она на пароходе!

Третий свисток. Олюся бежит на пароход, заливаясь смехом. Что-то ехидное показалось мне в этом смехе. Неужели она все-таки подозревает?

Ах, Надя, ты не так осторожна, как предполагаешь!

Она ждала меня, как и было условлено, в роще.

— Ну что, искали меня?

— Олюся... Я сказал им, что видел, как ты вошла в каюту второго класса — народа там видимо-невидимо. Тебя не хватятся до самой Риги...

Солнце уже зашло и по свежему воздуху было видно, что

уже не лето. Мы долго оставались в лесу. Мы давно не делились с Надей, и я старался использовать эти минуты.

— А мне кажется, что ты, все-таки, не любишь меня по настоящему, — сказал я то, что давно было у меня на устах.

Какая бы женщина на месте ее не ответила бы горячими клятвами? Но Надя была честной.

— Я не знаю, — сказала она, — мне кажется, что я тебя люблю... Возможно, правда, не так, как я любила его...

Я не знал, кто был этот «он». Имел только предположения. Но не хотел расспрашивать. Как то раз, в такую же минуту, Надя призналась мне, что начала обращать на меня внимание, когда заметила с «его» стороны какое-то охлаждение. Сначала я был для нее просто своеобразным утешением. А потом занял первое место.

Над нашими головами было уже звездное небо. Они выступали уже на потемневшую лазурь. Прямо над соснами стоял Юпитер.

— Второй по блеску, — сказала она, смотря наверх. Надя слышала наш разговор с Федей.

— Надя, — прошептал я и голос, мой собственный голос, показался мне незнакомым, — это ты про звезду над нашими головами, или... про меня? Может быть, я для тебя тоже — второй по блеску?

Надя посмотрела на меня. И взгляд ее был каким-то загадочным.

— Второй по блеску, — задумчиво повторила она, — второй по блеску... Федя — ты знаешь ведь, что звезды теперь его конек, — показывал мне как-то на закате две звезды. Одна горела ярко-ярко. Она стояла высоко. Другая, тоже яркая, как-то тонула в зеленом небе. Там, где недавно зашло солнце. И эта, на зеленом небе, была Венера... Юпитер был ярче.

Я понял ее ответ. Не поверил ему.

Все небо горело теперь звездами. Тихо было в лесу. Я привлек Надю к себе. Нежно опустил на мох. Манит к себе мшистое ложе.

— Милый...

И вдруг — резко и протяжно — прозвучал там, в глубине

рощи, этот звук, что я слышал уже однажды. Крик... стон...

— Оставь! — испуганно вырывалась Надя. — Там люди! Пусти!

Мы встали и пошли молча к тропинке. Наверх. Надя прижималась ко мне, словно ей было страшно.

Молча, слушая море, шли мы домой.

Ко мне.

...В сентябрьской ночи столько же неги, как и в ночи марта...

Я работал, как сумасшедший. Писал целыми днями. И, наконец, картина готова. Я долго смотрел на нее. Сегодня вечером, если будет звездная ночь, пойду в последний раз проверить себя в рощу. Может быть, нужны какие-нибудь детали. Ах, почему нет со мной Нади! Она понимает толк в картинах. Она никогда не скажет: хорошо, если ей что-нибудь не нравится. Она была там со мною. В звездную ночь, когда испугалась звука...

Я стоял посреди комнаты, разглядывая картину, когда в дверь постучали. Это была хозяйка. Я никогда не показываю картину, пока она не готова, никому. Может быть, суеверие... Исключение делаю только для Нади. Но эта картина уже готова. Я не счел нужным закрывать ее. Хозяйка любопытно подошла.

— Боже мой! — воскликнула она как-то испуганно.

— Что такое?

— Да ведь это... это же проклятое место! Скажите, неужто ж вы были там когда-нибудь в темноте?

— Конечно. Как же иначе мог бы нарисовать? А почему вы называете это место проклятым? Там ведь очень красиво.

— Красиво-то, может, и красиво... А проклятое место и есть. Роща повешенных.

— Кого же там вешали?

— А вот и не знаю. Говорят, что бароны — когда крепо-

стное право было — вешали там своих провинившихся крестьян. А, может быть, и не так. Может, приговоренных каких разбойников... или шпионов. А только вешали. Место нечистое. И деревья еще те же стоят...

— Да Господь с вами, Варвара Андреевна — там же нет вовсе старых деревьев.

— Ан, вот и есть. Внизу-то нет — а на горе? Там очень, очень старые. У вас очень похоже вышло! А вот хоть золотом осыпьте меня — ни за что не пошла бы туда не только что ночью — после захода солнца. Да ни один человек не пойдет. Вы вот не знали — оттого и пошли. Да неужто ж вам не было страшно? И ничего с вами там не было?

Ну как я скажу ей, что мне было жутко? — Совестно. И, приняв равнодушный тон, я ответил:

— Нет, мне страшно не было. Нисколечко. И что же могло там со мной случиться?

— Там дорога проходит. Мимо рощи-то. В рыбацьи поселки... Так ни за что там ни один человек не поедет после захода солнца. Ни за что.

— Да что ж там такое бывает?

— Да разное. Едет человек дорогой — и чувствует — есть кто-то рядом с ним. Не то идет, не то едет — шут его знает. А только есть кто-то... И так это страшно! Дорога-то прямая, никуда не сворачивает, а вот поди же — сбивались с пути. Попадали в болото. И как — Одному Господу ведомо. А то какие-то крики, стоны... прямо там, в болоте...

— Милая Варвара Андреевна, все это предрассудки. Был я там столько раз ночью, и сегодня пойду...

И оставив охать и чуть ли не причитать мою добрейшую хозяйку, я вечером пошел в рощу повешенных.

Когда я вышел из дома, небо было звездное. Но потом набежала какая-то большая и темная туча и заволокла небо, как раз когда я подходил к роще. Мне стало досадно. Мне хотелось ведь взглянуть еще раз на рощу, когда в небе звезды, когда горит второй по блеску. А тут такая темнота.

Да, в роще была полная тьма и тишина. Не было слышно сегодня этого странного крика, так испугавшего Надю. Я подошел к спуску и остановился. Идти дальше ведь

незачем. Да я и не хотел рискнуть — не видно ничего, а там, внизу — болото. Да последние дни все шли дожди. Я стоял несколько минут. Хотел уже уходить.

Но внезапно там, над болотом, раздался странный, необъяснимый шум. Словно какая-то громадная птица прошелестела гигантскими крылами, коснувшись вершин деревьев. Мне казалось, что я вижу гигантскую птицу. Она распростерлась тучей над рощей — и рассыпалась! Да, рассыпалась, как рассыпаются ракеты. И каждый кусочек принял живые очертания.. Вся роща наполнилась множеством существ. Они двигались безмолвно между деревьев, кустов, на ветвях высоких сосен. И что-то жуткое было в безмолвном движении этих существ. Именно в этом молчании.

Существа были — человеческие!

И внезапно мне вспомнилось, как назвала хозяйка это место:

Роща повешенных!

Как прикованный, стоял я на месте. И, сознаюсь, меня охватил такой ужас, какому нет имени на языке людей. И была только одна — трусливая — мысль:

«Хотя бы “они” меня не заметили!»

Наконец, я овладел собой и стал быстро карабкаться наверх. Скорей бы уйти из рощи. Ведь за пределами ее «они» бессильны.

Я сделал ведь по тропинке вниз всего каких-нибудь десять шагов — чего же нет ей теперь конца? Где же верх дюны? Вот, чувствую, что тропинка под ногами, а делаю глупость — сворачиваю в сторону. Теперь под ногами мох — мягкий мох. Но со всех сторон я слышу шуршанье этих страшных молчаливых существ. Ужас все более охватывал мою душу. Я побежал. Ах, скорей бы вершина дюны. Слава Богу! Вершина. Тут сейчас дорога к морю. Но что это? Что так блестит внизу под дюной? Не может же так блестеть песчаная дорога в безлунную ночь?

Море, море!

Да, но как же оно здесь? Ведь дюны не доходят до моря? Приливов у нас не бывает. Бури не было... Да, но море дошло до самой дюны. Блестит у ее подошвы. Оно, может

быть, подыметесь еще выше? Я стал терять голову. Бросился прямо в лес. Только бы подальше от «них», где бы «они» ни шуршали! Подальше, подальше!

Лез на дюны, утопал во мху. Внизу — болото... сзади — море... Ах, если бы открылись звезды! Второй по блеску указал бы мне путь...

Юпитер! Юпитер!

Но он был скрыт темными тучами. Я чувствовал, что мне не уйти от этого ужаса. Я присел на поваленную бурей сосну — я совсем не помнил ее, а ведь я хорошо изучил рощу. Сел. Закрыв уши руками, чтобы не слышать этого отвратительного шуршания. Я боялся, что начнется еще крик. Но «они» были сегодня безмолвны.

Не знаю, сколько я сидел. Руки устали. Я отнял их от ушей. И услышал, как там, далеко в деревне, прокричал петух.

— Слава Богу! Говорят, «они» не выносят петушиного крика!

Но «они» шуршали все громче и громче. Мне казалось, что «они» приближались. И вдруг между деревьев что-то блеснуло. Сердце мое забилося часто-часто. Дикой радостью наполнилась моя душа!

Второй по блеску!

Он теперь на юге. Нет, скорее — юго-западе... Значит, надо идти так, чтобы он все время оставался слева.

Но Юпитер посмотрел только на минуту. Ах, Федя, Федя, ты прав — не любят звезды того, кто их не понимает!

Я снова сел на какой-то пенек, заткнул уши, закрыл глаза. Стал тихонько молиться...

И просидел так, пока над рощей не показалась слабая полоска зари. Еле-еле заметная.

Резкий крик — тот самый, знакомый, — родился в роще. И, словно по сигналу, все «они» зашевелились еще быстрее, стали собираться в одно место. Я зажмурился и не видел, а только слышал, как опять пронеслась над рощей гигантская птица.

Стихло. Я открыл глаза. Огляделся. В тусклом свете утренних сумерек увидел я море — не у дюны, а там, где ему

надлежало быть, и лес, и дорожку — в двух-трех шагах от себя.

Покачив головой, отправился я домой. Нет, Варваре Андреевне не скажу я, что было со мной в роще.

Я переделал картину. — Вернее сказать — написал заново. Это не был больше лесной уголок в осеннем сне. Полотно ожило. Весь лес наполнился туманными, сливающимися с тьмой, расплывчатыми фигурами. Присмотришься — видишь их: над соснами, в кустах, на каземате.

А над лесом, блестя лучами, сияет второй по блеску.

И, отбросив все прежние наименования, я назвал картину просто:

«Полночь в лесу».

Я выставил свое полотно на Рождественской выставке. Она имела громадный успех. Впрочем, многие и ругали картину. Понимать — да кто мог ее понять? Я думаю, ее поняла бы Варвара Андреевна. Да зачем она придет на выставку? Я думаю, она никогда еще в жизни не была ни на какой выставке, ни в музее.

Рассказал я только Наде. Не знаю, поверила ли она, но она долго-долго смотрела на картину. Знаю: она вспомнила ту ночь, когда мы были с ней там, на мягком мху, когда «они» помешали нам своим криком...

В последнее время Надя опять очень нежна со мной...

А все-таки — в этом я уверен — я для нее только — второй по блеску...

STELLA MARIS

От ужасов смерти, в момент роковой,
Спасен он был грезой светящей,
Для всех, погибающих в бездне морской
Звездою, о мире скорбящей...

Никогда не любил я спиритических сеансов. Они вызывают во мне — ну, я сказал бы — брезгливое — отношение. Как это, вызвать душу кого-нибудь из умерших близких? Православная церковь наша молится «во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему...» А я буду лишать его этого покоя, хотя бы на минуту? Из-за какого-то баловства! Чем же иным являются для большинства спиритические сеансы? Нет, этого я не понимаю! Я против этого!

Сознаюсь, когда спириты уговаривали меня принять участие в одном из сеансов, уверяя, что там будут только серьезные, сознательные приверженцы спиритизма, чтобы вызвать дух Андрика Смирнова — я колебался. Слишком хотелось мне узнать трагические обстоятельства его смерти... Но я все же не пошел.

И Андрик оценил это — и пришел ко мне сам. Не во время сеанса, для развлечения других — а как друг к своему другу...

Андрик Смирнов.

Мы все его звали так. Никогда «Андрей», «Андрюша», «Андрюшка»:

Андрик...

В последний раз я виделся с ним года за два до его гибели. Это было в Лондоне. Я зашел к нему в каюту. Андрик был дельный моряк, но ничем не отличался от своих товарищей. Разве — своей религиозностью. Существует поговорка: «Кто в море не бывал, тот Богу не маливался» — и

в пословице этой скрыт глубочайший смысл. Среди моряков редки — я бы сказал: почти никогда не встречаются атеисты.

Моряк бывает в церкви не часто. Но разве в море не помолитесь вы лучше, глубже, серьезней, чем в четырех церковных стенах? Пусть не глядят на нас строгие лики святых — глядит сам Божий лик, глядит из каждой звезды синего неба, из каждой бегущей волны. Пусть нет лампад — но разве не бесчисленные свечи зажжены в небесах? Пусть нет церковных песнопений — разве не поют их морские волны? Разве не слышите вы в этих напевах: «Всякое дыхание да хвалит Господа!» Не внимаете весенней ночью, как возглашают волны:

— Христос Воскресе!

Хвалят морские волны Господа...

Андрик был верующим как-то по-детски чисто. Он не любил зря говорить на религиозные темы, но если говорил — все выходило у него так красиво...

Когда я зашел к нему в Лондоне, я увидел в его каюте что-то мне новое. Это была икона — вернее, картина. Он мне сказал, что это — картина известного художника... Айвазовского, что ли... Я имен не знаю... Бурное море. И погибающие моряки. А там, почти на горизонте — сияние. Вгляделся, вижу — Пречистая Дева в сиянии венца. Я долго смотрел на картину. Андрик же сказал:

— Звезда морей. *Stella Maris*... Знаешь, у Мережковского есть стихотворение. — И он стал мне читать это известное стихотворение о том, как погибли два моряка — отец с сыном. И, когда нашли их трупы, сын был посиневший, как все утопленники,

Другой же с улыбкой такую
На мертвых устах, будто сон, а не смерть
Смежил их навеки собою.
От ужасов смерти, в момент роковой,

Спасен он был грезой светящей —
Для всех, погибающих в бездне морской,
Звездой, о мире скорбящей...

— Ты в это веришь? То есть в то, что погибающие в море могут видеть Звезду Морей?

— Да, — тихо ответил Андрик. — И какая это должна быть дивная смерть! Но только думаю — не всем «погибающим в бездне морской» дано видеть Ее. Ведь мы грешные... Ее видеть дано, может быть, избранным... Я всегда вспоминаю эту картину и эти стихи, когда в бурные ночи вижу вечернюю или утреннюю звезду, сияющую над морскими водами...

— Вечерняя и утренняя звезда — это Венера?

— Да, — как-то нерешительно ответил Андрик. — Знаешь, в Средние века, когда вздумали изгонять с небес наименования языческих богов, ей дали имя «Звезда Богородицы». Впрочем, кажется, у католиков сохранилось это название. Только у них.

Больше Андрика я не видел. То есть не видел живым.

Он погиб во время войны в каком-то морском бою. Впрочем, это был даже не бой: одно из тех маленьких — но славных — дел, герои которых не попадают на страницы истории.

Когда я прочитал имя Андрика в списке погибших, первой моей мыслью было:

— Что испытал он в последние минуты?

Мне безумно хотелось его увидеть. Но звать не хотел — не хотел тревожить покоя.

И все-таки, я его видел!

Я не вызывал его сознательно — но все время думал о нем и, наверное, так усиленно, что он услышал.

Осенним вечером, когда река была залита еще розовым блеском только что скрывшегося солнца, стоял я на палубе. И, как всегда в последние годы, думал об Андрике. Ведь у меня не было друзей ближе его.

Я смотрел на реку, готовившуюся уснуть. Мой глаз разобрал там, над розово-желтой полоской на западе, вечернюю звезду, мерцавшую еще слабо-слабо.

— Звезда Богородицы... — прошептал я.

Я стоял еще несколько времени. Хотелось подышать свежим воздухом прежде, чем пойдешь в каюту. Уже загорались маячки и огни на судах в гавани. В небе ярче разгоралась вечерняя звезда.

И в голубых сумерках осенней ночи подошел ко мне Андрик...

Не знаю, чего было больше — радости свидеться с ним, или испуга — того испуга, что вызывает в нас всякое явление, которого не может объяснить трезвый рассудок.

— Вот ты звал — и я пришел, — сказал он, глядя на меня своими большими — и всегда такими грустными — глазами. И во взгляде этом почудилось мне сегодня что-то новое. Станным блеском горели они — блеском, названия которому я не мог подыскать.

— Я знаю, что ты хочешь спросить. Ты хочешь знать, как я погиб, и исполнилась ли моя мечта. Да, Сережа — исполнилась!

И он стал мне рассказывать — спокойно и связно — о том, последнем бою.

— И вот снаряд сорвал половину бака. Все мы очутились в волнах. Было бурно. Целый день дул свежий ветер, но к вечеру разыгрался настоящий шторм. Солнце уже зашло. Падая, я инстинктивно ухватился за какой-то обломок. Стояли какие-то серо-голубые сумерки. Глухо шумело зеленое море. И была у меня мысль:

«Вот и конец. Я погибаю смертью моряка. Смертью солдата, гибнущего в бою... И, если я уже исполнил свой долг — пусть я погибну. Но если моя жизнь нужна еще Родине — жаль, очень жаль. Тогда не хочется умирать! — Я отдался волнам, и они несли меня куда-то, куда гнал их усиливав-

шийся шторм. Подальше от орудийных залпов. А может быть, это просто германец окончил стрелять. А может быть, я просто больше не слышал... Меня несло и несло.

И внезапно там, низко над горизонтом — я увидел вечернюю звезду. Она была такой яркой, как никогда. Блеск ее все ширился. Лучи становились все ослепительней. Это была уже не звезда, а солнце... Ярче, чем солнце... И в этих ослепительных лучах, я увидел, приближалась Она. Как там, на моей картине.

На Ней серебрится одежда, что снег,
Сама, что звезда золотая...

И кто-то сказал мне:

— Твой долг исполнен!

Может быть, это сказала море...

А Она шла по водам, и от улыбки Ее стихали морские волны. Последний еще раз вздыбились они — потом легли у Ее ног... И там, за Ней, я видел такой блеск... Все небо горело и сияло... Все небо превратилось в одно огненное море... От одной Ее улыбки!

И я пошел туда, куда меня звали...

...Ах, если бы знали люди, какое блаженство, какое ни с чем не сравнимое счастье положить жизнь свою за други своя — никогда никто не боялся бы смерти!

Андрик замолчал. Вечерняя звезда разгоралась. И, казалось мне — один луч ее скользнул по его лицу... Задержался на минуту на его голове...

Я молча смотрел на звезду. Потом обернулся к Андрику.

Но Андрика рядом со мной уже не было.

Тогда я снова обернулся к звезде Богородицы и стал молча молиться за Андрика... За всех погибающих в море... живот свой на поле брани положивших... убиенных... расстрелянных... умученных...

И величаво играла своими лучами Ее звезда...



ЗЕЛЕНЬКИЙ ОГОНЕК

Зеленый огонек...

Я увидел его в первый раз, когда, шестнадцатилетним юношей, я последовал за отцом в купленный им домик на окраине города. Старенький, но уютный домик этот стоял в густом саду, почти на самом берегу реки. Из окон его была видна большая река. А на севере море. Синяя полоска.

Туда уходили суда — в неведомые дали. И оттуда возвращались, распустив паруса или дымя трубами. Длинная каменная гряда убегает от берега в реку, отделив собой небольшую полоску воды. По эту сторону гряды — мелко. Водятся только пиявки да лягушки. По ту сторону — глубина. Там уходят в море большие пароходы.

По вечерам на молу зажигался зеленый огонек. Ровным, немигающим светом горел он, загораясь после заката. И так до самого утра.

Ровный, зеленый, ласкающий...

Я не знаю, почему влек он меня к себе, тянул неведомой и непреодолимой силой. Я часто смотрел на него по вечерам, сидя долго-долго в саду. Я мечтал, глядя на этот зеленый огонек. Мечтал, как мечтает каждый юноша, полюбивший в первый раз... Я мечтал о ней, глядя на огонек. И огонек связался в моей памяти с нею.

Давно уже нет ее, моей милой и любимой...

Давно нет на молу зеленого огонька...

Была война. Было повальное бегство из родных городов. Была революция.

Погасли на реке зеленые и белые огни. И, казалось, в целом мире нет иных огней — кроме красных.

Огненно-красных. Кровавых...

Зеленый огонек...

Так же далеко, как ты, осталось мое детство... моя юность...

моя юношеская любовь...

Все проходит, все минует.

Превратился в зрелого мужа мечтательный юноша. На полях войны потерял он свои светлые иллюзии...

Иллюзии зеленого огонька...

Снесен с лица земли наш уютный домик. В могиле мой отец. Далеко моя юношеская любовь... И нету больше на молу моего зеленого огонька. На месте его поднялся новый нескладный маяк, с тускло-белым — проблесковым — огнем. И всюду на реке, от верховья до моря, до большого белого маяка, сторожащего вход в залив, проблесковые, проблесковые.

Жалеют огня. Жалеют света. Но не жалеют людских глаз.

Много проблесковых огней на лоне широкой реки. Белые, белые, красные. А зеленых только три. Это — на всей широкой реке. Ненавижу я проблесковые огни. Непостоянные — как сами люди.

Как человеческая любовь...

Я поселился за городом, вблизи того места, где стоял наш старенький домик. Мне часто приходилось возвращаться последним пароходом. И, глядя в окно на темные воды реки, на темное небо — я ждал, жадно ждал, не покажется ли, наконец, зеленого огня — маячка или встречного парохода.

Что в них, в этих зеленых огнях, что они так влекут меня, так манят и мучают?

Вот загорелся зеленый луч — и сразу погас.

Почему вы так непостоянны, проблесковые зеленые огни?

В годы войны и революции спало мое сердце. Горела

душа — да, горела пламенем жертвенной любви к Родине, к родному народу. Но не было в ней места для чувства к кому-нибудь одному. А теперь, на родине, когда успокоилось сердце, когда вокруг тишина и мир, в мое спавшее сердце прокралась непрощенная гостья:

Любовь.

И я отдался ей со всем порывом, на который способна одинокая душа...

Она не любила меня. Нет, не любила...

Играла ли она мной или увлекалась сама — не знаю. Но я отдал ей всю жизнь, все мои мечты и надежды. И когда, редко, разрешала она мне целовать свои тонкие руки — я испытывал неизъяснимое блаженство. Она позволяла мне это иногда. И больше ничего. Никогда.

Но я горел. Я сгорал на пламени этой любви... И, казалось мне, кроме этого чувства нет в мире ничего. Ничего!

И, когда я возвращался домой, прижимаясь горячим лбом к холодному стеклу пароходного окна, — я думал о ней. Только о ней.

Ждал появления зеленых огоньков.

И огни слились с образом моей возлюбленной.

Зеленые огни моей любви...

Как дивно томиться и страдать от любви без ответа и надежд!

Гореть, страдать, отчаиваться — и снова гореть! Знать, что никогда не будет ответа.

Что счастье только во сне...

В дивном сказочном сне, овеванном ароматом любви, сияющим зелеными огнями.

Проблесковыми, непостоянными были огни.

Такова же была и моя любовь.

Она никогда не любила меня — но давала мне минуты счастья. Минуты блаженства, когда я целовал ее руки. И один лишь раз я осмелился прижаться жадными устами к

ее губам!

Холодно сказала она мне, что не любит. Любит другого. Любила его всегда.

Я не упрекал ее за ложную надежду. Был благодарен за краткие минуты счастья, что давала она мне — недостойному.

Я плакал, целуя ее руки. Я безумно любил. Не люблю так никого. Никогда...

Она ушла от меня. Я привык видеться с ней каждый день... Теперь мы не виделись месяцами. Я ушел сердцем и умом куда-то в бездонную пропасть. Пробовал искать забвения в вине. В кокаине. Не находил.

И единственное, что давало мне успокоение, от чего струился в мятущуюся душу мою мир — это зеленые огни нашей гавани.

Говорят, зеленый цвет — цвет надежды.

Неправда! Зеленый огонь — это любовь!

Я зашел в храм.

Много церквей в нашем большом городе. Но я люблю из них только одну. Не потому, что в ней какой-нибудь особенный батюшка. Батюшка самый обыкновенный. Старичок. Кроткий. Простой. Глубоко верующий. Каких много на Руси. Пение — как во всех церквях. Не лучше, не хуже. На стенах нет икон старого письма, художественных фресок, чего-нибудь замечательного.

Но не в батюшке дело. Не в иконах. Не в пении.

А, может быть, именно в иконах. У одной из них, старой, темной — Николай Чудотворец изображен на ней, с потемневшим от времени ликом — горит лампада. Неуга-

симая она. Ночью погашены в храме все, а эта горит. Видна и из окон церковных.

Зеленая лампада Николая Чудотворца! Зеленая лампада освещает его образ.

Строги святые. Строги и бесстрастны их лики. А вот этот святой... Какой благодатью, какой любовью к страждущему человечеству дышит его лицо. Строгое с первого взгляда — и такое благое, если всмотреться в его очертания. Знает и любит — и как еще любит его — русский народ. Вся страждущая Русь. Какие грехи не исповедовались у его подножия. О чем только не молились ему грешные люди.

Улыбался своей светлой улыбкой святой, слыша кроткия, наивные или дерзостные молитвы. И делал так, как требовала того Божия воля.

И не противился никогда, что горит перед ним зеленая лампада...

Я вышел из храма. Оглянулся еще в последний раз на неугасимую лампаду и медленно побрел по улице. Напротив храма — ярко освещенные окна. Какая-то лекция. Не посмотрев даже на программу, взял я билет. Не все ли мне равно, о чем и кто читает? Хочется только быть среди людей... Давит одиночество. Лекция давно уже началась. Лектор — человек небольшого роста, худощавый, с лицом аскета. Что-то особенное есть в этих глазах, устремленных куда-то вдаль, поверх голов застывших в глубоком молчании слушателей. Глазам этим словно открыто что-то, чего не видят другие.

Я прислушался.

— ...она влечет человека ко всему прекрасному. Она — символ Красоты, Красоты вечной и нетленной. В детей своих вкладывает она стремление к Красоте — духовной и телесной... И, если мы называем Венеру *mater amoris*, то мы понимаем любовь в ее самом широком смысле. Любовь великую, всесозидающую и всесогревающую. Венера есть

мать любви —

Той великой Любви к Красоте неземной,
Той Любви, что охватит собой,
В бесконечном сиянье небесных лучей
Возвращенные души людей...

Лектор говорил увлекательно. Я пришел поздно, поймал только обрывок какой-то большой мысли, и душа еще не следила за ней. И скоро потерял нить, уйдя в свои невеселые думы.

— Под покровительством каждой планеты, как известно моим слушателям, находятся государства, страны света, города, дни недели, месяцы, минералы, драгоценные камни, животные, птицы, растения, цвета. Месяц Венеры — май, тот месяц, когда

всюду праздник Любви и Весны,
все земное на пир собирается брачный...

Венера любит цветы весны: сирень, ландыш, каштан. Ее цветы — подвенечное внешнее убранство, одевающее плодовые сады. Царица цветов — роза — тоже посвящена ей, царице планет.

В мае все цветет, все зеленеет, вот почему Венера так любит зеленый цвет...

Эти слова, донесшиеся до моего слуха, сразу пробудили мое внимание. Мне казалось, я внезапно прозрел. Теперь я знал, отчего меня всегда влекли с такой непонятной силой эти зеленые огоньки, отчего они всегда были связаны с моей любовью.

Венера! В зеленых огнях своих открывала ты мне свое величие, свою силу!

Я больше не слушал. Я видел перед собой зеленые огни... Я ушел душой в прошлое, осиянное этими огнями...

Лекция окончилась. Я поспешил в фойе, к боковым дверям, откуда был ход за кулисы. Там я ждал лектора. Он был уже одет, в зимнем теплом пальто, высокой шапке. Теперь

он не производил того впечатления, как на эстраде. Обычный человек.

— Я хотел вас спросить, — робко начал я. Он посмотрел на меня. О, эти глаза! Они смотрели на меня — они смотрели в мою душу... Они смотрели в душу человеческую, они смотрели в высь, они смотрели в таинственную бесконечность!

— Я хотел вас спросить... — начал я снова. Да что я, в сущности, хотел спросить этого странного человека?

— Я никогда не интересовался астрологией, — наконец выжал я из себя, — вообще я не знал, что астрология еще существует... Я думал... Астрология наука древних... И теперь она давно забыта... Не может существовать в наш век... когда наука...

— Что ваша наука без астрологии? — спросил меня лектор. — Астрология — альфа каждой науки... Средневековые ученые — а вы ведь не будете отрицать, что ученые были и в Средние века — строили все свои системы на астрологии... вспомните Кеплера, Тихо де Браге. Астрономия, которая шагнула теперь далеко — пошла бы еще дальше, если бы не откололась от астрологии... Астрономы считают нас ниже себя... Но это не так... *Astrologia est mater astronomiae!*

Мы вышли на улицу. Громадные звезды сияли над нашими головами. Крупные, яркие.

— Вы знаете звездное небо? — спросил меня астролог.

— Мало... — смущенно сказал я.

— Присмотритесь к небу... К звездам первой величины... Вы видите, что они горят разным цветом? Цвет звезды дает основу астрофизике.. Астрофизика изучает по цвету лучей природу звезд. Она определяет на основании их состав планеты, разлагая лучи. Для астролога не особенно важно, из какого вещества состоит та или иная планета. Для него важны ее лучи — и влияние этих лучей на человека... Ведь наука не отрицает невидимых лучей. Астрофизики говорят о «видимом спектре» и «невидимом». Наука открывает постоянно все новые и новые лучи... Многие из ученых относятся отрицательно к «ленто-лучам», открытым случайно ученым Горном... Впрочем, нельзя сказать

«открытым», потому что ему удалось поймать их только однажды... а второй раз, несмотря на годы работ, наблюдать их ему уже не удалось... Есть бесчисленное множество лучей — и только малая часть их известна науке...

Астрология или астропсихика — серьезная наука, имеющая громадное будущее. Она придает большое значение лучам, вернее: соотношению планетных лучей. Астролог знает, что значит, когда лучи одной планеты падают на другую перпендикулярно, под косым углом. Взаимоотношение светил или, как называют астрологи — аспекты, создает то или иное влияние на весь подлунный мир, на человечество в его целом, целые нации, отдельных людей. Горе и радости человека, успех и неудачи — все может прочесть астролог в звездных рунах.

— Так, по-вашему, человек есть раб звездных лучей?

— Нет... Человек создан Богом существом свободным. У него есть разум, который указывает ему путь. Но не всякий слушается голоса разума. Чем выше человек в своем умственном развитии, тем больше может освободиться от непреклонного влияния светил. Он может даже изменить свою судьбу на две трети и чем ниже человек по своему духовному развитию, тем больше он приближается к животным, не имеющим рассудка и свободной воли. *Astra inclinant, non insistant*. Каждый луч — видимый или невидимый, а их изучила наука еще не так много — имеет свое назначение. Имеет связь с той или иной планетой. История человечества пишется золотыми буквами на небесах. Ее начертания — аспекты. Откуда у нас войны и революция? Откуда годы мирного строительства? Все, все это предсказывает нам расположение небесных светил. Лучи забираются в астральное тело человека. Они вызывают жажду крови или жажду славы. Все лучи...

Я долго говорил со странным человеком. И, расставшись с ним, долго еще смотрел я на звездное небо — как будто бы впервые увидел его. Да, я впервые смотрел на него зрячими глазами. И мне казалось, что я чувствую на себе влияние этих лучей. Благотворное... умиротворяющее...

Осень.

Сажу в своей комнате. На столе горит лампа с зеленым абажуром. Зеленым, конечно зеленым. Абажур этот успокаивает мои глаза. Сажу и пишу.

Была зима, весна, лето. И вот опять осень. Я часто, бывая в городе, захожу к астрологу. Я стал его постоянным гостем. И учеником. Я знаю еще не много. Я только что постиг азбуку неба, и теперь, робко и застенчиво, начинаю читать. Он дает мне много книг, расширяющих мой кругозор. И теперь я начал писать сам. Это будет мой первый труд — экзаменационный! Я дам его моему учителю. Он прочтет. Исправит. Поможет. Мой труд называется «О лучах».

И первая глава носит название «Зеленые огни — лучи Венеры»...



ЗВЕЗДА ЛЮБВИ

В этом свете призывном есть тайная власть,
И святые порывы, и страсть...

Пройти в собор было невозможно — выходил как раз крестный ход. Яркие ленты огоньков опоясали со всех сторон многовековые стены, черные и мрачные. И только наверху, на колокольне, горели тысячи разноцветных лампочек.

Илюшу оттерли от отца, который с матерью и профессором Смирновым ушел вперед.

— Как понимаете вы слова богослужения «о всех и за вся»? — спросил профессор Смирнов, продолжая начатый разговор.

— Церковь толкует, что речь идет обо всем человечестве, — ответил немного удивленный профессор Цветков.

— Только о земном?

— Как земном?

— Ну, о человечестве нашей планеты. Неужели православная церковь ваша смотрит так узко? В таком случае, у древних было более широкое мировоззрение. У них существовала молитва «за человечество всех миров». Любовь, внушившая эти дивные слова, соединяла в одну семью всю вселенную.

— Человечества других миров... Вы в это верите?

— Величайшее самомнение со стороны земного человека считать себя единственным разумным существом во всей вселенной. Такая крупница, как наша земля — и эта бесконечность!

Профессор задумчиво посмотрел в высь, где искрились, переливались и мерцали мартовские огнистые звезды.

— Вы сказали сейчас «ваша православная церковь», — вмешалась в разговор жена профессора Цветкова, — разве вы не православный?

— Я — просто верующий, — ответил Смирнов, — и не при-

знаю вероисповедных рамок. Я беру от всякой религии, что есть у нее прекрасного. От христианства я беру его символ — воскресшего Христа, у древних египтян — их лучезарного Озириса, у буддистов...

— Но ведь это какое-то сумбурное смешение христианства с язычеством, — искренне возмутилась Цветкова.

— У всех религий корень один — у самых древних народов даже было положено в основу религий: «Он существует»!

— А где Илюша? — вдруг заметила мать, которой казалось, что разговор обоих профессоров как-то не подходит к этой обстановке пасхального крестного хода.

— Стоит где-нибудь и смотрит на звезды! — слегка насмешливо ответил отец.

— Вы не говорили мне никогда, что он такой любитель астрономии! — оживился профессор Смирнов, читавший курс астрономии на математическом факультете.

— Любитель! Ну, полагаю что дело не в самой астрономии! — тем же насмешливым тоном отозвался Цветков. — Не думаю, чтобы он интересовался самой наукой. Не знаю даже, знает ли он все созвездия... Но у него есть свои любимые звезды... А вот Венера — так он просто влюблен в нее... Вы знаете, он может часами стоять и смотреть на нее... Словно его гипнотизируют ее лучи... По-моему, это что-то болезненное...

— Мы уже обращались к доктору, — робко вставила мать.

— Венера теперь восходит на рассвете, — сказал профессор Смирнов, не обративший внимания на последние слова Цветковой.

— Ну, так Илюша встает еще до рассвета... Словно его кто будит каждое утро... И сидит у окна... Мы браним его... Гоним в постель... А он встает тихонько, так что мы не слышим...

— И давно это?

— Да так, трудно сказать. Теперь ему восемнадцать. Ну, года три.

Громкий колокольный звон заглушил дальнейшие слова Цветковой. Крестный ход вливался обратно в собор.

Словно из другого мира, доносилось отдаленное «Христос воскрес»...

Илюша не молился, а только слушал. Колокольный звон, пение, весенние шорохи — все сливалось для него в одну непередаваемую общую, чудесную гармонию... И внезапно показались ненужными и лишними все эти люди, обтекающие собор. Илюша загасил свечку и вышел из толпы. Далеко уходила налево от собора темная аллея, и никого в ней сегодня не было, кроме весны...

Обычно на скамьях ее прятались парочки, искавшие весеннего уединения, но сегодня их спугнул шум крестного хода. Илюша опустился на скамью и погрузился в сладкое бездумье. Музыка колоколов, Пасха и весна сливались в его юной чистой душе в одно и будили в ней сладкое ожидание.

— Сегодня она должна прийти!

И она пришла.

Легкая, еле осязаемая, скользнула она рядом с ним на скамью. Не пятью грубыми чувствами воспринимал он присутствие любимой, а тонким внутренним... шестым...

Одну секунду продолжалось ощущение ее близости, потом, как всегда, она начала растворяться... таять... Но внутренним ухом уловил он то, чего не слышал ранее никогда:

— Иди за мной!

И ноги стали легки, как два крыла. Оторвались от земли...

Вот уже далеко внизу темная аллея и вливающийся в собор крестный ход, и расцвеченный огоньками старинный купол... И ближе, ближе золотые звезды...

Несутся, в бешеной пляске, навстречу миры, несутся, пропадая далеко позади, звезды, кометы, метеоры. Вот надвигается, раздвинувшийся до гигантских размеров, серебристый серп луны... Бежит навстречу ее неосвещенная сто-

рона: какие-то ледяные горы, застывшие реки, чудовищные пещеры, безводные пустыни.

Мимо, мимо...

И вот уже глубоко внизу блещет ее серебряный узенький серп...

Со всех сторон обняла синяя бездна, усеянная мириадами золотых огней...

О, что это за блеск, что за лучи льются, сыплются, мчатся навстречу!

Венера, Венера!

Как не узнать тебя, царица заката и востока!

Неизъяснимое блаженство исходит от этих зеленых лучей, ласкающих и тело, и душу... И теперь Илюша ясно ощущает, что он — не один! Она рядом с ним, такая же сама яркая, сияющая, как Венера! Первый раз при ясном дневном блеске видит он лицо подруги своих вечеров...

«И увидел я новое небо и новую землю...» Да, новая земля! Неведомые ландшафты, невиданные деревья и цветы... И это новое небо, с новыми созвездиями...

Почему так знакома эта яркая звезда там, в синей бездне?

Ну, конечно, это — Земля! Земля со всеми ее страданиями, с ее гордостью, ее самомнением...

— Милый, ты теперь у меня, на моей родине! Века, целые века ждала я твоего возвращения... Ты не помнишь меня, нет?

Она заглянула глубоко ему в глаза своими искристыми, неземными очами.

— Наши души в один и тот же час вышли из рук Всемогущего Творца... Века носились мы с тобою в волнах веч-

ного эфира, пока не прозвучал нам призыв идти в мир!

Средь бронзовых столбов Атлантиды, залитых блеском горячего солнца, встретились мы впервые на земле. Мы любили друг друга на берегу царственного Нила, воды которого серебрились у наших ног... Арена Колизея была обогрена нашей кровью, когда великий Цезарь бросил нас вместе на съедение львам...

Милый! Разве не помнишь ты, как с именем моим на устах ринулся ты, сам как лев, на толпу неверных сарацин, когда вдали открылись священные стены Иерусалима?

Забыл меня, забыл!

Твоя душа оторвалась от моей, ты стал рабом земли, рабом своего тела...

И великое возмездие совершилось — наши души, созданные друг для друга, были разлучены и поселены на разных планетах...

Но в душе твоей не умерла великая любовь, а только задремала... И, когда я позвала тебя отсюда, послала тебе в луче первый привет — ты откликнулся на мой призыв неизвестным тебе доселе трепетом... И вся жизнь твоя превратилась в одно томленье, в одно стремление в недостигаемые выси...

Еще не совершился наш круг. Еще не переполнилась чаша очищающих души страданий... Глубокая бездна разделяет нас... И только в эту весеннюю ночь, когда сгладилась рознь между живыми и мертвыми, когда все возможно, потому что совершено величайшее чудо — победа над смертью, когда вся вселенная, от земли до последней грани звезд, слилась в единый великий гимн воскресшему Христу — можем мы быть с тобою вместе...

Но смотри — солнце взойдет сейчас... Солнце играет лучами, воздавая хвалу Поправшему смертью смерть!

Милый, люби меня... Люби всегда... всегда!

Серебристым звоном прозвучали эти слова и растаяли где-то в зардевшейся вышине...

Шелестели ветви еще не одетых листвою дерев. Где-то в кустах робко крикнул проснувшийся зяблик. Пусто было на бульваре. Проходили только запоздалые богомольцы, несшие узелки с освященными пасхами и куличами. В монастыре, что над рекой, еще звонили, и звон этот плавал в предрассветном воздухе...

На зардевшемся востоке догорала, сияя своими загадочными, властными лучами, белая звезда...

Белая Венера...



ВЕНЕРА ПОБЕДИЛА

Зимнее солнце зашло, но все небо горело еще розовым отблеском заката. Алые блики скользили по льду и от этого он казался каким-то весенним. А между тем, только самое начало марта...

Крепок в этом году лед, сковывающий широкую реку — крепки были и морозы этой рано надвинувшейся зимою. Почти три месяца стояла такая ясная солнечная погода. Много дорожек разбежалось по реке. А по ним тянулись почти сплошной вереницей люди. Туда, за реку. Рабочий день окончился. Все спешили домой. В город шло меньше. Кто живет в центре — на правом берегу реки, презрительно не считает левый берег городом. Там много больших каменных домов, но больше красивых особняков в густых и прекрасных садах. Весной и летом тонет весь левый берег в зелени. Зимой как-то глухо. По всем дорожкам реки спешат люди. На рукавах, ответвляющихся от реки, их меньше. По маленькому рукаву идет женщина. Она одна. Кто спешил — обогнал ее и скрылся уже на берегу. Сзади нет никого. Она не спешит. Идет медленно. Рано.

...Он обещал сегодня прийти. Но сколько раз обещал он это — и как редко держит слово. Да если и придет... Она глубоко вздохнула.

Весь запад горел еще закатом, а между тем, зоркий глаз мог различить там, очень высоко, белую точку — вечернюю звезду. Она привлекла внимание шедшей по льду.

«Вот, говорят астрологи, когда ты, Венера, близка к земле, когда ты в своих домах, твое влияние на человека особенно сильно. Неправда это! Не сердись на меня, золотая! Вот уже месяц, как вижу тебя каждый вечер. И он должен видеть. На закат его окна. Не может он не видеть тебя... Да кто не поднимет глаз на твои влекущие лучи? А все еще так же, как месяц назад... как год... два года...

Не любит... не любит... не любит!

Зачем же встречаемся мы? Ведь знает он — не делаю я из этого тайны, — что люблю его. Горячо и безумно... А он

— он ищет во мне одной только дружбы. И никогда, никогда не будет иначе!»

Женщина задумалась, и перед глазами ее поплыли картины минувшего.

Евгений приходит не часто. Но вот, в один, из тех вечеров, что провели они так, вместе, вышла она проводить его до калитки. Надо же было отпереть. И, прощаясь, задержал руку Надежды Львовны Евгений, и стал целовать ее пальцы... без конца... без конца...

«Почему ты не поцелуешь меня в губы?» — думала Надежда Львовна. И ушла назад недоумевающая.

И был еще один вечер. На именинах сослуживца встретились они. Евгений не отходил от нее весь вечер. Все танцы танцевал с ней. Не хотел приглашать больше никого. Перешептывались знакомые. Хихикали, завидуя втайне, дамы: очень красив Евгений. Ни до кого не было дела Надежде Львовне. Она чувствовала близость любимого человека. Отвечала на пожатие его руки; прижималась к нему в ритме танца.

И была счастлива, счастлива!

Тесно было в небольшой зале. Толкались, теснили друг друга. И никто не обращал внимания на другие пары. И там, на людях, незаметно для прочих глаз, поцеловал он Надю в плечо.

В первый раз...

Много было встреч потом. Случайных и намеренных. Сколько раз приходилось вместе дежурить. Но ничем и никогда не напоминал ей об этом вечере, об этом — первом — поцелуе Евгений... Но чем холоднее становился он, чем резче подчеркивал, что отношения должны оставаться только дружескими — тем ярче разгоралась в ней эта глупая, безнадёжная страсть...

Придет ли?

Придет, как друг... А разве этого ей надо!

Зачем ты обманываешь, золотая? Лжешь, лжешь!

Евгений пришел.

Как всегда, было их свидание. Говорили между собой, как друзья, близкие — но вполне равнодушные друг к другу.

И насмешливо смотрела в резное окно Венера. Только снизу затянул его морозный узор. Аверху было достаточно места, чтобы вливались в комнату белые лучи. Говоря с ним, Надежда Львовна смотрела в окно, и больно было от этих лучей, смотревших прямо в душу.

Евгений вышел купить папирос. Надежда Львовна видела в окно, как прошла по белому снегу темная тень.

— Венера, Венера! Ведь ты сейчас в своем доме — в Тельце. Сильно должны влиять на человека твои лучи. Я чувствую, как они вливаются в мою душу. Как растапливают мое сердце. Но не ко мне, не в мою душу стремитесь, а к нему! В его душе пробудите любовь!

Астрологи говорят: каждая планета имеет своего духа, злого и доброго — ангела-хранителя... Добрый гений Венеры — не знаю, как тебя звать — услышь меня, услышь!

Золотая Венера! В глубокой древности поклонялись тебе люди. Строили тебе храмы. Воздвигали алтари. Они приносили тебе золото, свои молитвы и свою любовь.

Христианство...

Разве посмеет христианин просить у Бога, у святых — любви, земной любви?

Святые... Отказавшиеся от земли, порвавшие с запросами плоти, уходили вы в пустыни и горы. Вы побеждали в себе все земное, заставляя торжествовать дух. Для вас было ужасно торжество тела.

Аскеты... отшельники...

Или другие — раскаявшиеся грешники, годами замаливавшие то, что было сделано в юности. И к вам нельзя обратиться с молитвой о помощи. Ибо в прошлом остался ваш грех, забыт он давно и прощен перед Господом.

И если стану молиться вам — пожалеете вы о моем падении, и станете сами молиться за меня, да отвратит Бог мои мысли от земного и грешного...

Кошунством была бы молитва к вам — молитва о земном.

...Об этом молились язычники. Любили они жизнь, солнце и свет... Любили молодость и любовь. Знали, что единая жизнь дается человеку. Думали — в грядущем тьма Эреба...

Они могли молиться тебе, золотая, в храмах, посвященных тебе, в рощах и лесах...

Разрушены храмы твои. Разнесены по камню твои алтари. И звучат в честь тебя напевы только среди людей, которые знают, что такое Красота. Вечная Красота.. Из жизни изгнали тебя. Но, издеваясь над тупостью человека, сияешь ты, божественная, на небесах... И редок в году тот день, когда ты не освещала бы человеческую жизнь на утренней или вечерней заре..

Венера, золотая Венера! Царица Венера! Я верю тебе! Я поклоняюсь твоей красоте и твоему могуществу!

И я молюсь тебе, золотая, могучая, дивная! Венера — помоги мне! Прелей блеск лучей своих и пусть ярким потоком вторгнутся они в сердце человека, который не любит! Пусть пробудят в душе его горячий и яркий блеск!

Венера, я молюсь тебе!

Молюсь! Молюсь!

Ушедшая мыслями в высь, не заметила Надежда Львовна, как вернулся Евгений.

— Что вы все смотрите в окно, на эту звезду? — спросил он, поймав ее взгляд. — Я заметил ее на улице. Это — вечерняя звезда?

— Да, Венера.

— Венера...

Он еще раз взглянул в окно, потом отвернулся и закурил. Они не зажигали света. Этот полумрак как то больше шел в настроению. Странному. Необычному. И Евгений чувствовал что-то новое. Обычно так не любивший темноты, он сам просил сегодня не зажигать света. Надежда Львовна молча взяла его руку. Не любил этого Евгений. Но сегодня не противился. Отдал ей свою руку, и даже вздрагивали его пальцы в ее тонкой, горячей руке.

И было что-то особенное в яркой звезде — заставлявшее и Евгения поднимать к ней глаза.

Есть люди, глаза которых не выносят незащищенного света. Но, если где заметят его, — что-то непреодолимо тянет их смотреть на яркий луч, хотя от этого невыносимо страдает глаз. Так и Евгений. Ни за что не хотел смотреть в окно — его манили и звали струившиеся оттуда лучи. Кололи, жгли, — и заставляли смотреть, смотреть, не отрываясь.

И в темной комнате шла странная и непонятная борьба: разумная воля упрямого человека боролась — всеми силами — с таинственной силой, которую рождали лучи, прилетевшие из Неведомого.

— Подлая Венера! — сказал неожиданно Евгений. И снова посмотрел в окно.

И в странном восклицании этом поняла Надежда Львовна, что и он — холодный — чувствует влияние золотой богини...

И, схватив снова его руку, прижалась к ней жадными, манящими устами.

.

Венера победила!...



ЛАВРЕНТЬЕВ ЦВЕТ

Чудесна звездная ночь в сосновом лесу.

Звезды...

Они сияют, крупные и яркие, многоименные, с синего неба, смотрят сквозь ветви деревьев. Говорят о вечности... И молчаливо слушают их старые сосны, видевшие уже много-много на своем долгом веку.

Вот соскользнула одна, сорвалась с самим Богом указанного ей места и, оставя после себя длинный зигзаг — полетела вниз. Знала ли она о том желании, что шепчут девушки, еле начинающие жить, и увядающие женщины, прощающиеся с пышно расцветшей осенью?

— Пусть он любит!

Он был недалеко. Подложивши руку под голову, спал он тут же, в сосновом лесу.

Зачем она здесь? Зачем приехала на свою муку? Ведь знала она, зачем зовет ее Алексей. Кто сказал ей об этом? — Никто, кроме того чувства, которое никогда, никогда не обманывает любящей женщины.

Алексей никогда не говорил ей «люблю». Но было много-много минут, в которые хотелось верить этому. Не простой, банальный флирт был между ними. Это было нечто большее — но не любовь!

Как странно, как нелепо отдалась ему Елена, обычно такая гордая, недоступная. Ведь она любила!

Он не придал этому значения. По крайней мере, никогда не вспоминал про это. А в душе Елены пробудилась — не могла отогнать ее — глупая, наивная надежда, что отныне сольются столь различные дотоле дороги...

Он сказал ей вчера по телефону: «Приезжайте». И она приехала, не спросив — зачем. И только сердце подсказало:

— Он зовет тебя, чтобы сказать: «Люблю другую!»

Она думала об этом утром, когда проснулась. Она слышала его — не сказанные — слова в поезде. Она ждала их с его уст с первой минуты встречи.

Елена была знакома с родителями Алексея. Они относились к ней корректно, но равнодушно. Они были богатыми помещиками, а Елена какой-то там учительницей. И то, что Алексей, позвавший ее к себе, не пригласил ее в дом своих родителей, а принял в лесу, не показалось ей странно и нелепо. Алексей же сделал это вовсе не из соображений романтики — чтобы придать встрече своеобразную красоту. Он просто считал, по каким-то своим соображениям, неудобным, чтобы Елена пришла к ним в дом. Елена же знала, что Алексей эгоист, что ему всегда дело только до самого себя. Только...

Долго гуляли они по лесу, но Алексей не начинал разговора. Елена не спросила: «Зачем вы позвали меня?» Оттягивая сознательно момент объяснения, все еще надеясь:

— Может быть, обмануло предчувствие!

Но никогда не обманывает оно любящей женщины!

— Какие отношения, хотите вы, чтоб были между нами?

И Елена почувствовала:

«Вот!»

— Такие, как были до сих пор! — не задумываясь, ответила она.

— Дружеские? — понял по-своему Алексей. — Будут всегда! — и протянул ей руку. Но она постаралась не заметить. А он стал — к чему было это? — рассказывать о девушке, которую полюбил, на которой собирается жениться.

К чему он говорит ей это, к чему?

Елена молчала.

— Когда идет последний поезд? — внезапно спросила

она. Алексей посмотрел на часы.

— Только что ушел... — ответ прозвучал слегка смущенно. Елена молча посмотрела на него. Ждала ли она, что хоть теперь-то пригласит Алексей ее в имение? Ведь этого требовала простая вежливость. Он не сказал ничего...

— Сколько верст до города?

— Двадцать... или двадцать две... Хорошо не помню...

— Пойду пешком. Люблю большие прогулки.

И опять не сказал он ничего. И это переполнило чашу терпения.

— Уж конечно, другую бы вы так не отпустили — ночью и одну! — вырвалось у Елены. Он посмотрел на нее долго-долго. Потом как-то резко взял ее под руку и сказал:

— Я иду с вами!

Молча стали они углубляться в чащу. Елена не спросила, знает ли он дорогу. Не все ли равно было ей, куда они идут? Ведь Алексей с нею!

И — странно — Алексей, который только что сентиментально рассказывал ей о девушке, которую любит — крепко сжимал ее руку. Елена чувствовала в его руке знакомую дрожь.

Лесу не было предела. Направо были какие-то воды, налево — густая чаща. Тихо шептались о чем-то папоротники. Тихо переговаривались сосны. Молча мерцали звезды.

А они уходили — не зная, куда!

К одному и тому же месту возвращались они. К одному и тому же месту вела, извиваясь зигзагами, тропинка.

— Нам не выбраться отсюда — лениво сказал Алексей. — Придется подождать, пока рассветет.

Он устроился на мху и скоро заснул. А она сидела возле — охраняя его сон. И думала невеселую думу — думу любимой.

Видела, как скатилась с неба звезда. Слушала, как шепчет о чем то вода, скрытая высокими кустами.

Вот темный лес загорелся огнями. Много-много мелькает их в высокой траве, во мху. Горят и разбегаются. Манят. А подойдешь — нет никаких огоньков. И загораются они, когда отойдешь — позади.

Светляки...

Любовь — великая творческая Любовь бросила свое отражение на этих маленьких насекомых. Ярко зажигают они темной ночью свои фонари, чтобы привлечь внимание любимого. Но и в мягком лесном мху, и в яркой зелени болот живет вечная спутница земной любви — серая мрачная Ревность. И если заметит самочка, что любимый предпочел ей другую, зажигает она ярким светом свой фонарь и умирает, когда потухнет погребальный светильник.

Сгорает на пламени своей любви.

А это уже не светляк. Что-то большое, лучистое загорелось в траве у воды. Там, где болото. Как будто яркая звезда сорвалась с синих небес в болото и продолжает гореть там ярким пламенем.

— Плачет, плачет чистыми слезами святой Лаврентий. Падают слезинки его на траву и загораются в ней огоньки. Огоньки живые. Горячая, жгучая слеза попала в болото. И горит там звездой. Подойди, человек, жаждущий счастья. Подойди и сорви этот цветок!

Красным огнем загорается папоротник в языческую Иванову ночь. Цветок счастья — земного и грешного.

От чистой слезы святого Лаврентия загорается также болотный цветок. Голубое чистое пламя. Чистое, как само лазурное небо...

Подойди и сорви! Подойди и сорви! И будет счастье в руках!

Словно пригнувшись к самому уху, шептал кто-то эти странные слова. Прошептал — и скрылся в темноте.

— Не надо! Не шепчи! Не искушай!

Разметался во сне Алеша. Закрыты красивые глаза. Кого ты видишь сейчас?

Алеша!

Придвинулась к нему. Схватила руку. Прильнула к ней жадными устами. Проснулся Алексей. Чувствует близость любящей — но не любимой... Как во сне, обнял ее Алексей — и так сидели они несколько минут, объятые звездной тишиной ночи.

Прижалась Елена щекой к его щеке. Прошептала:

— Поцелуй меня!

Слышал. Ответил — о, к чему было это жестокое слово!

— Нет.

— Почему?

— Дружба...

Издавательством прозвучало это в лесной тишине. Укоризненно зашептались деревья.

Кто-то пронзительно крикнул в лесу. Леший?

Лежала женщина на мягком мху, и вздрагивали от рыданий ее плечи. И невидимые — но добрые — собрались кругом, и осуждающе смотрели на жестокого... Почувствовал их Алексей. Протянул руку к оскорбленной им женщине. Но быстрым движением вскочила она, бросилась от него. Вода манила, темная вода, окруженная тростником и камышами. Манила коварная глубина. Все равно, без его любви — не жить!

И укоризненно смотрели с высокого неба Божие звезды. Блестящие, яркие... Но такие холодные, холодные... Не было среди них той, единственной, которая бы не осудила:

Венеры...

Нежные руки отвели ее от воды. Заставили Алексея сделать это добрые духи леса.

Она рыдала, положив голову ему на плечо, и шептала:

— Люблю... люблю...

Не успели остеречь его добрые духи леса. И снова сказал он слово — слово, нарушившее все волшебство звездной ночи:

— Ведь вы любите меня только для себя... Скажите —

если я был бы неизлечимо болен, и, чтобы спасти меня — надо было бы пожертвовать своей жизнью... сделали бы вы это?

Она молчала.

«Неужели не знаешь, что до последней капли крови готова я пожертвовать для тебя?»

Но не сказала. Ибо лгут, лгут те, которые сыплют клятвами и уверениями. Лгут, всегда лгут!

Он ждал ответа.

И Елена ответила:

— Не знаю...

В начале августа сидели они в сосновом лесу. А в середине октября был Алексей у нее в комнате. Пришел совершенно неожиданно. Поздно — и пьяный.

— До поезда осталось у меня около часа. Посижу у вас. Можно? На улице холодно. Ветер.

Из часа вышло два. Поезд ушел.

— Вот, опоздал на поезд. — Досадой звучали слова — словно кто-то другой, не он был виноват в этом.

— Лягте, — просто сказала Елена, — я уступлю вам свою комнату. — Могу переночевать в беседке. Там часто ночевала летом.

Не мог он сказать:

— Но ведь теперь — не лето... Смотрите, какая буря разыгрывается на дворе.

Ничего не сказал Алексей. Какое ему дело до нелюбимой!

Закутавшись в большой платок, вышла Елена в сад. На окраине города стоит домик. Прошла в беседку, села на старой холодной скамейке. Ветер становится все сильнее и сильнее. Жалобно скрипят сосны и теряющие листья липы. Черными тенью несутся над садом летучие мыши. И пронзительно, неприятно кричит сыч. Одинокой, словно одна в целом мире, чувствует себя этой темной ночью Елена. И

так же мрачны, как эта осенняя ночь, мысли в душе Елены. И сердце ее стонет, как эта ночная птица... Холодно. Стынут руки... А там, в ее теплой комнате, сладко спит Алексей. Кто в его мечтах? Та, чужая, ненавистная?

Борьба шла в эту темную ночь — борьба между добрыми и злыми... Ночной сад был во власти черных. И черные победили.

— Откройте! Откройте! Мне же холодно! На улице начинается настоящая буря.

Неохотно открыл ей дверь Алексей... А между тем, он ведь хотел, чтоб Елена пришла...

Мужчина, упрекающий женщину за ее ласки, за ее поцелуи, которых просил, на которые отвечал.

Месяцами упрекал Елену Алексей за эту ночь в ее комнате, когда на улице бушевала буря, когда она пришла среди ночи, продрогшая, усталая... Как будто бы не отвечал на ее ласки. Как будто бы над телом его и душой было кем-то совершено насилие. И упреки эти встали между ними, как крепкая стена. Стена, ее же не разрушить никому.

И еще раз пробежало солнце все двенадцать знаков зодиака и снова было в созвездии Девы.

В небе снова сияли Лаврентьевы огни. И снова сидели они, двое, в лесу. В том самом лесу, у озера. У болота. Только теперь не надо было Елене идти домой ночью, пешком, одной. Могла переночевать в имении, как делала часто.

Когда весной предложил ей Алеша давать уроки его брату, она согласилась не сразу. Боялась: когда-нибудь, придя к ним, встретит ту, о которой думает Алеша, из-за которой упрекал ее столько месяцев. Но потом согласилась. Алешина мать предложила очень выгодные условия — с Шур-

кой заниматься было нелегко, и учительницы менялись у него часто. Приходя на урок, заставляла Алексея редко. Намеренно ли он избегал частых встреч с ней, или это было случайно — никогда об этом не спрашивала Елена. С тех пор, как начались эти уроки, Алешины родители стали относиться к ней иначе. Отца она видела мало — он был то у себя в имении, то в отъезде, то на каком-нибудь заседании — он принимал деятельное участие в различных сельскохозяйственных обществах. Но мать бывала почти всегда дома. Она как-то присматривалась к Елене, и во внимании этом было что-то благожелательное. Нелегко было заниматься с упрямым и своевольным Шуркой. Может быть, мать ценила, что эта молодая учительница умела с ним справляться так, как не умели справляться предшественницы, между которыми бывали и заслуженные учительницы и даже учитель. Очень редко бывал дома Алеша. Иногда он просил ее остаться и они проводили вместе несколько теплых хороших минут. Беседовали по-дружески. Иногда она брала его руку. И Алеша не противился.

О той, другой, никогда больше не говорил ей Алеша. И только раз...

Однажды Елена, придя на урок, не застала никого дома. На столе у Шуры лежала записка, написанная рукой его матери:

«Шура сейчас придет».

Минут через пять раздался, действительно, звонок. Прислуга впустила. Елена раскрыла книгу и стала ждать ученика. Но это не был Шура. Дверь в соседней комнате открылась. Послышались голоса. Алешин и еще один — женский. Невольно прислушалась Елена. Они говорили друг другу «ты»... Какой-то туман опустился на мысли Елены. И казалось ей — вокруг темный сад и черные страшные существа, вырываясь из каждого куста, показывают на нее костлявыми пальцами, дразнят ее языками.

В соседней комнате стало тихо. И эта тишина нарушила колебания Елены. Вскочила, вышла из комнаты, подошла к Алешиной двери, постучала. Ответа не было. Вернулась в комнату Шуры. Вырвала из первой попавшейся тет-

радки листок, написала карандашом — какие-то каракули выходили вместо букв:

«Вынуждена, к сожалению, уроки прекратить».

Положила листок на стол. Вышла из комнаты. И, казалось, гнались за ней черные существа.

Разве только в лесу они? Разве не окружают нас всюду — невидимые и неслышные для большинства людей — духи, добрые и злые? Кто чуток — может видеть их. Видеть и слышать. Не во всякую минуту жизни... А иные видят — и не постигают, слышат и не понимают.

В соседней комнате были снова голоса. Проходя мимо, постучала. Но те, занятые разговором, не слышали...

Было еще очень рано, когда в дверь Елениной комнаты постучали. Она только что встала, выпила чашку кофе и собиралась приступить к обычному дню: через час ждала свою первую ученицу.

— Войдите, — сказала она, оглянувшись кругом, все ли в порядке. И не поверила глазам: на пороге стояла мать Алеши и Шуры. Так рано приехала она, дама, любившая долго поспать, довольно ленивая. Сейчас в ее, обычно таких немного холодных, глазах было что-то мягкое, почти ласковое.

— Шура был у зубного врача. Вам пришлось бы подождать совсем немного. И отчего вы хотите прекратить уроки? Разве мальчик сделал вам какую-нибудь неприятность? Ведь Шура к вам так привык... Скажу правду — редкая учительница могла с ним так поладить, как вы. Вы сумели внушить ему доверие к себе и уважение. Он делал у вас такие успехи... Неужели вы прекратите уроки за неделю до начала рождественских каникул? Ведь он должен много заниматься на Рождестве.

Елена виновато молчала.

— Ведь я оставила вам записку. И потом, спросили бы Алешу — он сказал бы вам, что Шура сейчас вернется.

Старушка пытливно посмотрела на нее. И снова опустила Елена глаза.

— Я... я стучала к нему... у него... был кто-то... наверное, его невеста...

Слово это чуть вырвалось с ее уст. Елена чувствовала, что дрожит. Старушка посмотрела на нее еще внимательнее.

— Нет у него невесты, — спокойно ответила она. — Вчера у нас была моя крестница. Они росли вместе. Вполне понятно, что Алеша говорит ей «ты». Но она — ему не невеста.

— Но у него есть невеста! — упрямо сказала Елена.

— Нет!

— Он скрывает от вас.

— Нет, я всегда об этом знаю. Мало ли было невест у Алеши! Ведь он очень красив... А раньше был еще лучше... Когда был гимназистом... студентом. От девчонок просто отбоя не было. Нет у него невесты, — решительно dokonчила она, — если это не вы, — добавила она чуть слышно.

И эти слова лишили Елену последней капли самообладания. Слезы так и брызнули из ее глаз. Старушка ласково обняла ее. Елена плакала, прижавшись к ее плечу.

— Он же не любит меня, не любит, — еле слышно шептала она.

— Нельзя же так, деточка, — говорила старушка, глядя ласково ее растрепавшиеся волосы, — нельзя же так все принимать к сердцу.

И, чем ласковее говорила старушка, тем больше хотелось рыдать Елене — рыдать и чувствовать материнскую ласку. Шесть лет было Елене, когда скончалась ее мать, отец был человек занятой. И так росла девочка, на попечении чужих, с душой, жаждавшей ласки и привета. Теперь ей хотелось целовать эти руки — руки, вырастившие того, кого она любила.

С этого часа у обеих женщин установилось молчаливое понимание.

Уходя, старушка просто и естественно спросила:

— Когда придете на урок?

И Елена так же просто ответила:

— Завтра. В шесть.

И снова начались уроки. Ни Алексей, ни мать его ни словом не напоминали о происшедшем. Иногда Алексей бывал дома, чаще — нет. Сегодня он был дома и попросил ее остаться. Сегодня она сидела долго, говорили они много и на самые разнообразные темы. Сегодня Алеша был не такой, как всегда. Какая-то еле уловимая ласковость проскальзывала в его тоне. И от этого душе становилось так тепло.

За окном догорел закат. В комнату смотрели светлые сумерки. Были уже близки белые ночи. Тихий покой, какого уже давно не знала душа, овладел Еленой. Хотелось так сидеть и слушать его тихие речи. Речи, в которых слышалась еле уловимо теплая нотка. Вошла зачем-то мать.

— Что вы тут в темноте? — сказала она и повернула выключатель. И это нарушило все. При холодном свете верхней лампы Елене как-то бросилось в глаза, что в книге, которую читал перед ее приходом Алеша, лежит письмо. Никогда не была любопытной Елена. Но письмо, которое читает Алеша. Может быть, ее толкнули невидимые злые, которые заняли комнату, когда зажгли в ней свет. И несмотря на то, что сидела далеко, Елена умудрилась прочесть — внутреннее зрение помогло — раскрытую страницу:

«Милый, любимый мой Леша!»

Обычное женское письмо, полное самых банальных уверений в любви, которые встречаются в надписях киноэкрана. Судя по слогу, не слишком развита, не слишком образована была писавшая.

— И такую он предпочел мне! — с болью подумала Елена. — Да, конечно, я не умею клясться в любви... я никогда не буду зря говорить о своем чувстве... Ну как же не понимает он — такой чуткий и вдумчивый — что ложь, всегда

ложь, может быть, и бессознательная, такие надуманные слова.

И внезапно почувствовала Елена — не ревность, не те, черные, сказали ей это — какой-то тайный голос приоткрыл перед ней завесу грядущего: почувствовала Елена — никогда, никогда не будет счастлив Алеша с той, которая клянется ему в любви. Бедный, бедный Алеша...

— О чем задумались? — Снова голос его прозвучал так ласково. Зачем он так говорит с нею сегодня? Или он так счастлив письмом, которое получил от той, что ему хочется бросить на каждого хоть маленький луч своего счастья?

Елена отвечала односложно. Не хотела, чтобы Алеша заметил ее настроение. Но не скоро овладела собой...

Боже, зачем, зачем эта мука?!

С июня Елена приезжала в имение два раза в неделю. Давала урок, оставалась ночевать, а на следующее утро опять урок. Так выходило четыре урока в неделю. Если Алеша был свободен, иногда выходили вечером погулять. Не слишком большой охотник до прогулок Алеша. Но если целый день работаешь — тянет на воздух. Так пошли они и сегодня.

Сегодня Алеша не такой, как всегда. Давно не помнит Елена его таким. Он, пожалуй, такой, как в тот вечер, когда в руки ей попало злосчастное письмо. Письмо, отравившее ей всю весну. Лишившее ее возможности наслаждаться пробуждением природы, которое она так любила, истомой и ароматом белых ночей.

Таким был Алеша раньше. Когда Елена наивно думала, что она любима!

В тиши этой ночи, на грани осени и лета, в лесной тиши, они были близки. Они понимали друг друга...

Понимали... Может быть, в первый раз!

Окружило со всех сторон ласкающее волшебство. И в тиши этой приближались к ним добрые духи леса. Они го-

ворили о том, что коротка человеческая жизнь, что мало осталось теплых и ясных ночей. Что надо пользоваться жизнью... любить. На грешную Иванову ночь была похожа ночь святого Лаврентия. И грешные языческие духи манили их из чащи... заставляли сплетаться их руки... прижиматься устами к устам..

И первый раз, повинуясь шепоту лесных духов, сказал ей Алеша то слово, которого она ждала годы:

— Люблю!

Очнулась Елена.

Ясное звездное небо опрокинулось над заснувшим лесом. Заснувшим? — Нет не спал он, а жил, жил тысячью невидимых и неслышных жизней. Алеша спал, как тогда, год тому назад. Но не было холодным его лицо. На устах его застыла счастливая улыбка. Долго, долго смотрела на любимое лицо Елена.

Сегодня он счастлив. Шепнул, что любит...

А завтра... Быть может, завтра уже станет ее упрекать.

Как будто бы она виновата, что любит его! Что он послушался голоса лесных духов!

Ночь клонилась к рассвету. Уже собирались гасить свои светильники звезды. А над лесной просекой, что вела куда-то к вырубленной полянке, вставала уже золотая Венера. И яркая, громадная, такая же, как была в небе, отразилась она в лесных водах...

Но не поняла Елена, что это — отражение. Показалось ей, ярким светом загорелось что то в болоте.

— Лаврентьев цвет! — крикнула она и рванулась вперед.

— Подойди и сорви! Подойди и сорви! — шептал над ухом ее коварный голос — как год назад...

Счастье есть! Надо суметь удержать это счастье!

Глубоко ушли ноги в коварную зелень болот. Хотела ухватиться за что-нибудь, но не было ни одного куста, и каждый сучок, за который хваталась рука, с треском ломался

под прикосновением...

Резкий крик раздался над болотом. Но был он похож на те, что вырываются ночью из чащи леса. И не проснулся Алексей. Крепко спал он. И сладки были его сны.

— Алеша! — раздалось над водой.

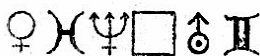
— Алеша! — откликнулось эхо.

А потом стало все тихо.

И только камыши, сердито перешептываясь, шептали еще долго, долго:

— Алеша! Алеша!

— Проснись!



Оглавление

Тринадцатый удар	8
Тринадцать	24
Комната № 3	30
Браслет старого Давида	40
Старая насыпь	52
Соня	71
Карма	80
Он обещал прийти!	86
Наш Архимед	91
Завядшие волосы	96
Loreley	109
Последний рейс капитана Брауна	130
Второй по блеску	143
Stella Maris	158
Зеленый огонек	163
Звезда любви	172
Венера победила	178
Лаврентьев цвет	183

Сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» публикуется по
первоизданию (Рига: Тип. А. О. «Э. Левин», 1930). Текст печатает-
ся в новой орфографии, с исправлением очевидных опечаток.
Максимально сохранены авторские особенности пунктуации,
в остальном пунктуация приближена к современным нормам.
Все концовки взяты из первоиздания.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.